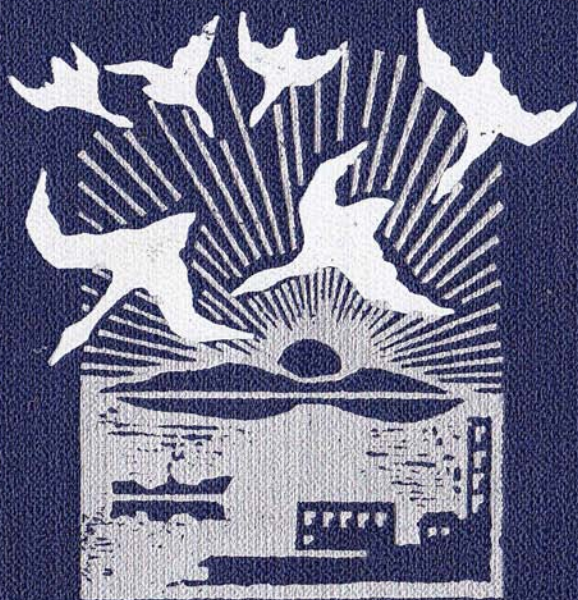


БОРИС  
ВАСИЛЕВСКИЙ



ДЛИННАЯ  
ДОРОГА  
В УЭЛЕН



БОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ

Кр 28  
813

ДЛИННАЯ  
ДОРОГА  
В УЭЛЕН

ОТДЕЛ  
АБОЛЕМЕНТА

990596

• МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1980 •

ШАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. А. С. ПУШКИНА

33С5  
В19

Художник В. А. Масленников

ISBN - 5 - 000 6964

В 11301—111 56—80 0802010207  
М-105(03)80

© Издательство «Советская Россия», 1980 г.

## ДЛИННАЯ ДОРОГА В УЭЛЕН

Сочинять предисловие к собственной книге, мне кажется, гораздо труднее, чем саму книгу, потому что ловишь себя на желании тут же, в нескольких словах обозначить ее суть, а это — по крайней мере для автора — всегда сложно. Поэтому лучше, наверное, попытаться объяснить читателю, как создавалась книга и какие чувства при этом владели автором. Иногда в подобных случаях очень помогает эпитафия. У Пушкина в «Отрывке из письма к Д.» есть следующие строки: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мной с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» Я с радостью предпослал бы эти слова своей книге, но «полуденный берег и Бахчисарай» так невообразимо далеки от описываемых мною мест, что лишь сбили бы с толку читателя. Вот если бы «полуденный берег» заменить на «полнощный», а Бахчисарай — скажем, на Уэлен!.. Все же, что касается «неизъяснимой прелести» и «воспоминания», для объяснения того, как возникла эта книга, звучит удивительно точно.

В самом деле, долгое время живя безвыездно в Уэлене, я не написал о нем ни строчки. Хотя, казалось бы, чего проще: вышел на крыльцо, посмотрел, как киты гуляют возле берега, и — запечатлел! Побывал на крайней северо-восточной оконечности материка, в старинном эскимосском селении Наукан, вернулся и — отобразил! Увидел, как старик Нутетегин исполняет сочиненный им танец Ворона, и — постарался описать! Уверен, что все это действительно заслуживало описания: и китов не с каждого крыльца увидишь, и Наукан — необыкновенное место, одно из самых, я считаю, замечательных мест на земле, и Нутетегин был великий мастер... Но, видимо, есть все же определенный смысл в древней восточной поговорке, гласящей, что книги — это всего лишь персты, указующие на ясный месяц. «А если ты видишь месяц, зачем тебе перст?» Следовательно, могу теперь полагать, что мне повезло и я смотрел тогда непосредственно на ясный месяц, что в общем-то для Уэлена, имея в виду его долгие полярные ночи, можно истолковывать и буквально...

Когда же я уехал с Чукотки, — гумая наивно, что навсегда, — то первым желанием, которое я ощутил, было — опять туда вернуться. В подобном стремлении ничего нового, ничего оригинального нет — любой человек, хоть раз побывавший на Севере, подтвердит это. И несмотря на то, что многим оно знакомо, никто до сих пор этого странного влечения как следует, толком не объяснил, разве что коротким загадочным словом — «тянет»... Причем, меня тянуло не просто на Чукотку, а именно в Уэлен, что тоже понятно каждому северянину, ибо патриотов вообще Чукотки нет, но есть приверженцы «своего» Певека, «своего» Анадыря, Бухты Провидения, Иультина... Вот тут-то я и начал вспоминать и писать об Уэлене: и о китах, и о штормах, и

о северных сияниях, и о стариках чукчах, и о своих учениках. Это была, выражаясь пушкинским слогом, вдруг открывшаяся мне счастливая возможность — «вновь посетить»... Затем, в связи с писательской работой, такая возможность представилась и в действительности, я не раз ездил в Уэлен, хотя это не означает, что всякий раз добирался до него, — по причине, для Чукотки весьма обычной и прозаической: или в Уэлене не было погоды, или в аэропорту, где я сидел, не было погоды, а дни, отведенные на поездку, между тем истекали. Путь от Москвы до Уэлена вообще не близкий, более двенадцати тысяч километров, так что, если сложить все эти пятизначные числа да помножить на неоднократно мои попытки, получится, в самом деле, не только очень глинная, но еще и долгая дорога. На самолетах, вертолетах, на зверобойных шхунах, вельботах, вездеходах, в тракторных санях, разумеется, на собаках и пешком...

Зато по дороге в Уэлен — я подчеркиваю это — мне довелось побывать во многих других местах Чукотки, которых я прежде никогда не видел: в Билибино, в Мечигменской тундре, на мысе Биллингса, острове Врангеля, в заливе Креста... Из описания этих путешествий, а точнее, одного, только растянувшегося во времени путешествия, и составила данная книга. Конечно же, я не мог не сравнивать новые для меня поселки, берега, косы, заливы, сопки и тундру с моим Уэленом, с его берегами, лагуной, сопками и тундрой, и пришел в результате к грустноватому для моих привычных чувств, но справедливому выводу, что если бы мне с самого начала пришлось жить и работать в каком-нибудь из этих, вновь узанных мест, то и название моей книги звучало бы несколько по-иному. Хотя слова «глинная дорога» в нем, наверное, сохранились бы...



Но все-таки я жил и работал в Уэлене! Теперь, чтобы завершить это предисловие, я чувствую, следует рассказать, как мне наконец удалось доехать до Уэлена. Это было в апреле 76-го года, то есть спустя почти десять лет, как я его покинул. В Лаврентия, районный центр, я прилетел из Анадыря поздно. Смеркалось, погода явно портилась, рейсов в Уэлен в этот день было много, и то, что летчики согласились сделать еще один, я воспринял как чудо — впрочем, чудо, достойно венчающее все мои долгие усилия... «Аннушка», едва поднявшись, перелетела залив Лаврентия и пошла невысоко над горами. Кроме меня, пассажиров собралось всего двое — знакомые уэленцы: косторез Василий Емрыкаин и мой бывший ученик Витя Ивитук, когда-то тоненький, худенький эскимосский мальчик, а теперь взрослый здоровенный мужчина, тракторист в совхозе. Спутники мои сидели спокойно, я же то и дело переходил от борта к борту, смотрел то в одно окошко, то в другое. Почти сразу увидел я слева, вдаль эскимосское селение Нуныамо, стоящее на обрыве над Беринговым морем, и широкую полосу морского льда у берега, а еще дальше — чистую воду Тихого океана. Прямо под нами медленно, сменяя друг друга, плыли сопки, такими доступными выглядевшие сверху, что, казалось, можно было просто перешагивать с вершины на вершину. Был вечер, солнце садилось там, где ему и положено было садиться в это время года — на юго-западе, то есть позади нас, потому что мы летели на северо-восток. Уже в Лаврентия начинался ветер, а здесь по долинам вовсю мело, поднималась снежная мгла, и низкое солнце и сумерки, соединившись, окрашивали эту непрозрачную мглу во множество тонов, от розового до темно-фиолетового... Был момент, когда я испугался, что мы все-таки повернули и возвращаемся, но нет — солнце остава-

лось по-прежнему сзади. Тогда пора было бы показываться замыкающему полуостров массиву Дежневского мыса и островам Диомиды за ним, но, видно, нечего было и надеяться разглядеть их по такой погоде. Наконец мы очутились над последней невысокой грядой, дальше начиналась тундра и Ледовитый океан.

«Вон Уэлен», — сказал Емрыкаин, указывая вперед, но я уже и сам различил его: на заснеженном сумрачном горизонте еще более темную полоску. Я знал, что и нас сейчас можно заметить из поселка — маленькую черную точку посреди яркого закатного неба — и уэленцы сообщают друг другу: «Самолет!» Через несколько минут мы сели на лед уэленской лагуны. Жители чукотских поселков любят встречать первые рейсы — с почтой, пассажирами, новостями, — к прочим же, обычно грузовым, теряют интерес. Поэтому я не удивился, что никто не подошел к нашему позднему самолету, да и сам он, тотчас развернувшись, уже удалялся — летчики спешили возвратиться в Лаврентия до окончательной темноты и непогоды. Попутчики мои разошлись, а я остался один стоять на лагуне, глядя на поселок и не торопясь входить в него, проглевая этот первый миг встречи, это ощущение, когда я вроде бы и приехал в Уэлен и еще не приехал окончательно, не сделал последнего шага. «Постой, постой, помедли, — говорил я себе, — будут встречи, грузы, радостные мгновенья узнавания, долгие разговоры, а этот миг, наедине с целым поселком, больше не повторится...»

И вот, пока я так стоял и смотрел, от ближнего дома все-таки отделилась и направилась ко мне какая-то фигура — судя по глиняной камлейке и характерной для пожилых чукчанок слегка переваливающейся походке, женская. Когда она подошла, я узнал ее, это была Люба Калякванау, работавшая когда-то у нас в школе

уборщицей. Ее большие темные глаза сияли, широкое круглое лицо казалось еще круглее в обрамлении камлечного капюшона и еще шире — от веселой, простодушной улыбки, которую я мог бы приписать радости встречи со мною, если бы не был уверен, что Люба меня, конечно, не помнит, и если бы не знал, что это обычное, свойственное ее лицу выражение, ее всегашний, неизменный привет — не чему-то в особенности, а разом всему бытию... И на Любу я смотрел с тем же двойственным чувством, что и на поселок: с волнением — оттого что вблизи — и спокойно — потому что из страшного далека, с расстояния своего десятилетнего отсутствия. Она же, приблизившись и разглядев меня в сгустившихся сумерках, сказала, так знакомо, на чукотский манер, и непередаваемо смягчая и приглушая согласные и ничуть не удивившись: «Етти, Василевский! Здравствуй! Ты опять в школа будешь? Учитель?» Ее слова вывели меня из философски-возвышенного, созерцательного оцепенения, я ощутил, что никакого «страшного далека» нет, и понял, что не «вновь я посетил», а попросту вернулся.

## ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОЗВРАЩЕНИЯМИ

1

**В** Красноярске в самолете нашем обнаружилась какая-то неисправность. Посадку отложили на два часа, потом еще на два и еще, и наконец всех нас, магаданских, пристроили на другой самолет, следующий по сложному, пересекающему чуть ли не всю страну маршруту: из Сочи через Кемерово, Красноярск, Якутск, Магадан в Петропавловск-Камчатский. И вот, вместо того чтобы лететь сразу в Магадан, мы направились в Якутск, но никто не роптал — все-таки движение вперед, все-таки лучше, чем томиться неизвестностью в аэропорту... После Якутска, где стоянка, к счастью, была очень короткой, самолет пошел вдоль зари — не понять было, вечерней еще или утренней. Я долго смотрел на узкую алую полосу, и вдруг она как-то опрокинулась, приобрела перспективу и необратимо стала громадным, разлившимся у горизонта морем с темными островками облаков. В противоположной стороне все было сине и темно, а далеко внизу в сумерках лежала земля, тусклым светом отливали озера и реки. Речки были похожи на перекрученную алюминиевую проволоку, которую кто-то, не выпрямляя, неровно, где уже, где шире, расплющил молотком.

Все три салона дружно спали. Прислонились друг к другу мои соседи — студенты из строительного отряда. У каждого на куртке была нашита эмблема Магадана: золотой олень на красном фоне, внизу синие волны. Ребята везли с собой две вместительные сумки с луком. Еще в Домодедове я слышал, как одна девушка удивлялась:

— Зачем нам столько луку?

— Есть будем. От цинги. Каждый вечер по луковице, — авторитетно отвечали ей.

— А я не люблю лук.

— Будем проверять! А ну дыхни...

Спали бывалые северяне. В свободных креслах свернулись калачиком стюардессы. Угомонился наконец молодой человек, сидевший впереди. Он летел на Север с женой и маленьким ребенком, и, видимо, впервые. Был он возбужден, рассказывал окружающим, как брат — он в Гижиге работает, может, слышали?! — уговорил его на Север, и вот они едут, интересно, холодно там, нет? Он вообще-то мороз легко переносит, но вот мороз с ветром, это, наверное, да! Хорошо, он догадался, теплые вещи уже вперед выслал, посылками, авиационные не оплачивают, так он заранее, простыми... И все привставал, все заглядывал в иллюминатор, гадал: «Это что же, Обь? Или уже Енисей?!»

Перед Магаданом все окончательно пробудились, и теперь не только новички, но и бывалые подолгу попадали к иллюминаторам: кончилась равнина, пошли черные, остроконечные сопки с пятнами снега у вершин, пересохшие ручьи в распадах, невысокие хребты с вылизанными ветром светлыми спинами. Начиная настоящий Север...

Почему, приступая к рассказу о путешествии, чаще всего, да почти всегда начинают с дороги? Не сразу —

о цели, о результатах, но, как это ни избито, непременно о начале пути? Может быть, столь многого ожидаешь от этого путешествия, так обостряются — с готовностью видеть, вбирать, осязать — все наши чувства, что и самые первые минуты и незначительные подробности кажутся предзнаменованиями, полными смысла? А может, так овладевает, так безраздельно распоряжается тобой дорога, особенно здесь, на Севере, что наступает в конце концов момент, когда и ты должен овладеть ею и распорядиться: поездку на вездеходе по тундре — воспеть, охотничью избушку на берегу Мечигменского залива — помянуть с благодарностью, а вот о бесполезном десятичасовом сидении в Красноярске и писать не следовало бы, как будто и не было его вовсе...

Впрочем, было оно, это сидение, не совсем бесполезным — в зале ожидания я познакомился с человеком, несомненно повлиявшим если не на смысл и цель, то на характер моей поездки. Рядом с его креслом стоял кофр с кино- или фотоаппаратурой, а к пиджаку был приколот большой необыкновенный значок: кружок с исходящим из него конусом. «Всесоюзная конференция по распространению радиоволн» — написано было в кружке, а в конусе помещался силуэт Байкала и даже остров Ольхон был помечен. Этого было достаточно, чтобы заговорить. Собеседник мой — назову его Карл Янович — оказался человеком серьезной профессии: преподавал техническую электродинамику в одном из иркутских институтов. Он ездил в Иркутск на конференцию, а возвращаясь, остановился на несколько дней в Красноярске — посмотреть город. Он кинолюбитель. Во время отпусков всегда путешествует... В свою очередь, я сказал, что тоже люблю путешествовать и сейчас вот еду, а потом буду писать об этом.

— Ехать, чтобы писать?! — воскликнул он с недоумением. — Что может быть нелепее? Я, знаете, не очень доверяю таким описаниям. В них, как правило, нет никакой информации! Да какую информацию вы даете? — сердито спросил он меня. — Мимолетное впечатление от природы, несколько передовиков труда, лозунг дня... Вам кажется, что вы описали именно это место, но сравните с описанием другого и найдете почти то же самое. Только вместо снега будет песок, вместо холода жара, вместо шубы полосатый халат... Это мы помним из учебника географии!

Чтобы как-то оправдаться, я пробормотал, что немало знаком с местами, куда еду. Но он придирчиво переспросил и записал в блокнот мою фамилию.

Все это навело меня на серьезные размышления, и часто вспоминалось мне в моем путешествии строгое лицо Карла Яновича, и не оставляя некий подсознательный страх, что не дам я никакой информации. У меня даже появилась мысль — выделять то, что считал я безусловной информацией, курсивом. Например: *в поселке Билибино в 1972 году проживают ≈ 12 тысяч человек ± несколько десятков неучтенных бичей*. Однако курсив только подчеркивал бы, как ее в самом деле мало, этой информации. Кроме того, уже имеющиеся сведения о Севере очень различны у разных людей. Когда я в первый раз вернулся с Чукотки, мне случилось рассказывать одному знакомому про моржей. Я долго и вдохновенно повествовал, какого они размера, какие у них клыки и какой вкус мяса, пока тот не спросил:

— А вот эти... ты говоришь, моржи... они что — в лесу?

Человек этот жил в противоположном Чукотке углу страны, высоко в горах, занимался тем, что делал отличное красное сухое вино, потом добавлял в него во-

ды и сахару и спускался на маленький базарчик к морю.

— Ну хорошо, ты не знаешь ничего про моржей, зато, наверное, все знаешь про вино. Зачем же ты его портишь? — укорил я.

Лицо его не дрогнуло, он только сказал:

— Завтра такой и такой вино торговать будем.

И назавтра я, с чувством неловкости за моих разомлевших от жары соотечественников, вынужден был наблюдать, как они недовольно морщатся, отведав настоящего вина, и как нахваляются разведенное. И я простил тому человеку незнание моржей.

Но вот мой московский сосед, кандидат наук, химик. Увидав у меня значок с надписью «Билибино—Певек», сказал: «Ну Билибино... (по аналогии, видимо, с Люблино он сделал ударение на последнем слове) Билибино, это ясно, место такое, а Певек — фамилия, что ли?» Конечно, мир велик и разнообразен, а вдобавок еще и узок и замкнут, и со временем я перестал удивляться в таких случаях и сердиться и сам начал избегать рассказывать о Севере, а если кто-нибудь спрашивал: «Ну как там, на Камчатке, то есть на Чукотке?» — я скороговоркой бормотал: «Обыкновенно: киты, моржи, медведи...» — и человек оставался доволен.

И есть у меня несколько фанатиков-друзей, с которыми я вижусь очень редко, зато уж когда мы видимся, то до утра сидим, сблизив над столом головы, глядя друг на друга влюбленными глазами, и разговор наш звучит примерно так:

— Амгузма...

— Да-а... А Провидения?

— Эх! А Нунлигран, Сиреники, Чаплино...

— И Нутепельмен, и Биллингс, мыс Шелагский!

— И Лаврентия?



— М-м... Но Уэлен!

— Да, да, Уэлен...

Таким образом, написать о Севере, чтобы это было одинаково ново и интересно для всех, видимо, невозможно. И все-таки мне хочется рассказывать о нем, потому что рассказать — значит вернуться еще раз...

2

Итак, Билибино — это «место такое»... В Магадане на проспекте Ленина выставлен стенд со схематической картой области. Расположенный не в центре этой громадной территории, а в юго-западном ее углу, сам Магадан очень напоминает штаб наступления на Север, с тремя отчетливыми направлениями. Два из них — вдоль Колымской трассы и побережья Тихого океана — как бы охватывают Север полукольцом, с запада и востока. Певек и Билибино — это лобовые удары...

От Магадана до Билибина полторы тысячи километров. Лететь туда можно напрямик на АН-24, а можно и на неспешном ИЛ-14 с посадками в Сеймчане, Омолоне, Черском. Я летел на ИЛ-14. Комары, которых много было в Магаданском аэропорту, прекрасно чувствовали себя и в самолете, и с каждой посадкой их становилось больше. В Сеймчане очень интересное здание аэропорта, деревянное, с фигурно срезанными остатками бревен, с башенкой, напоминает старинный русский терем. Говорят, и в Омолоне было такое, да сгорело. Поселок Омолон относится уже к Билибинскому району. Здесь к самолету собралась большая толпа, видно было, что большинство никого не встречает, вернее, просто встречают самолет. Сбежались и собаки. Их знали, с ними разговаривали: «А-а, Серый, и ты пришел встречать...» В сторонке стоял давно небритый мужчина, держа в

руках небольшие олени рога. Время от времени он негромко и хрипло объявлял:

— Желающие приобрести рога — только в Омолоне!

После Омолона в самолете соблазнительно запахло вяленой рыбой.

...Оказалось, что самолеты садятся теперь не рядом с Билибино, а в тридцати километрах, в Кэпервееме. Здесь закончили строительство нового аэродрома. Дорога к нему пока не готова. Отсюда пассажиры перелетают в поселок на АН-2. Еще несколько минут полета над широкой долиной, над Кэпервеемом, по-чукотски — Росомашьей рекой. Разреженная лиственничная тайга. Возле самой реки и на островах — плотная зелень ольхи, тополя, ивы. На берегу темного круглого озера — палатка, кто-то рыбачит. Еще разворот — другая долина. Слева, на склоне сопки мелькает прямоугольное сооружение, непривычно внушительных для этих мест размеров. Билибинская атомная электростанция... И вот наконец Билибино — заполярный поселок, где живут геологи, энергетики, горняки.

Дома, как и во всех поселках, единственная дорога к которым — по воздуху, начинаются сразу от аэропорта. Длинные приземистые бараки, небольшие оштукатуренные домики, времянки — с них начиналось и до сих пор начинается Билибино. Прямая пыльная улица с дощатым тротуаром. И вдруг — как подарок — мостик через ручей и лес, настоящий лес с высокими частыми деревьями, густой травой. Неширокая, утоптанная тропинка и снова мостик. Вода в ручье цвета кофе, слабо разбавленного молоком, холодного такого кофе, с густыми разводами на поверхности. Разница в том, что разводы эти беспрестанно меняют очертания — течение в ручье быстрое. Это — Каральвеем, на нем моют золото...

Детский садик с террасой, затянутой марлей, от комаров. Улицы, и каждая — словно этап застройки поселка: улица с двухэтажными домами, улица с трехэтажными, пятиэтажными... Ни одного распахнутого настежь окна, несмотря на июль, на более чем двадцатиградусную жару. Замазаны, заклеены навсегда, наглухо. Во многие окна встроены выступающие наружу деревянные или металлические ящики — естественные холодильники зимой...

Не знаю, как кто, а я ценю и всегда стремлюсь немного продлить эти первые минуты по приезде: никому еще не звонил, не представлялся, нигде не живешь — идешь себе по улице, замечаешь подробности чужого и, кажется, неторопливого житья-бытья. Но вот устроился в гостинице, перевел дух, умылся с дороги, покурил, заглянул в блокнот, подошел к телефону, и... будто цепная ядерная реакция началась на страницах блокнота: кому позвонить, с кем увидеться, куда поехать, что посмотреть...

С Валентином Васильевичем Лысковцевым, секретарем Билибинского райкома партии, мы условились встретиться ненадолго, куда-то он торопился. Валентин Васильевич в Билибине не так давно, а на Севере двадцать пять лет, раньше работал на Колыме. По профессии — горный инженер. В Билибине вообще много колымчан, это столь же естественно, как, например, то, что на Устье Илима много строителей из Братска... Пока он говорил по телефону («Да-да, через час...»), я разглядывал большую, почти во всю стену, карту района. Оранжевыми штрихами были обозначены линии электропередачи. Темно-зеленой полосой протянулся зимник Билибино — Зеленый Мыс. Красные прямоугольнички символизировали промышленные россыпи.

— Как я понял, вам нужен предварительный крат-

кий обзор? — спросил Валентин Васильевич. — Район наш очень большой, — начал он, подойдя к карте. — По размерам второй в области, после Анадырского. Еще недавно был чисто сельскохозяйственным, оленеводческим. Имелись здесь считанные поселки: Омолон, Анюйск, Илирней... Билибина вообще не существовало. В пятьдесят четвертом пришли геологи, обнаружили золото на Каральвееме. В пятьдесят девятом дали первый промышленный металл. Сейчас Билибинский район считается одним из самых перспективных в отношении развития горнодобывающей промышленности. Кроме золота есть у нас медь, и олово, и серебро, и ртуть... «Атомку» вот строим. Пока наша ДЭС соединена линиями электропередачи с Певеком и плавучей электростанцией «Северное сияние» в Зеленом Мысе. Это, так сказать, малое кольцо. В перспективе закольцуется вся Чукотка: Билибино, Певек, мыс Шмидта, Иультин, Анадырь... Создание мощной энергетической базы — одна из узловых проблем Чукотки. В нашем районе дефицита электроэнергии сейчас нет, но с открытием и разработкой новых месторождений он может возникнуть...

Хотя Лысковцев старался говорить очень коротко, в час мы, разумеется, не уложились. На очередной звонок он попросил кого-то: «Поезжайте одни», — и объяснил мне:

— Собирался посмотреть дорогу в Кэпервеем. Из тридцати километров осталось отсыпать два... Дороги, транспортная связь — тоже проблема. Основная масса грузов идет к нам Северным морским путем, до Зеленого Мыса. Там порт, склады, холодильники... Оттуда перевозим все машинами по зимнику. От продуктов до турбины для «атомки». Дорога жизни... В конце октября, как установятся холода, снаряжаем первую автоколону. Дня через три встречаем, с флагами, транспаран-

тами, с оркестром. Для нас это праздник. Как полярники на льдине пароход или самолет ждут, так мы — эту колонну... И почти до мая перевозим грузы. Сотни тысяч тонн. Зимой — до шестидесяти градусов мороза, а где-нибудь на перевале и того больше. Триста километров по тайге и тундре. На полпути, в Погындено, для шоферов гостиница есть, там можно душ принять, поесть, отдохнуть... Как потеплеет, дорогу закрываем, чтоб не разбить. Что еще? В Кэпервееме построили аэродром для больших самолетов, теперь наладим сообщение непосредственно с материком. Грузовые самолеты уже летают, вчера, например, получили яйца из Москвы. Как только выстроим гостиницу, столовую, начнем принимать и пассажирские... Есть у нас «Орбита», телевизор смотрим... И решенных, и нерешенных вопросов очень много, всего я вам и за несколько дней пересказать не смогу, — улыбнувшись, заключил Валентин Васильевич. — Посмотрите сами, поговорите с людьми...

Поблагодарив, я вышел на небольшую уютную площадку. Здесь, видимо, был центр. Неподалеку стоял дом с изображенной на торцовой стене сопкой и солнцем над ней. А в перспективе улицы виднелась настоящая сопка, и настоящее солнце, несмотря на вечер, было еще очень высоко. В Москве рабочий день только что начался, а здесь закончился, и на улицах было особенно оживленно. Так же, как и в любом другом городе, торопились люди по домам, в магазин, купить что-нибудь к ужину, вели детишек из садов и яслей, толпились возле бочки с квасом. Сверху бочки приделан был другой, небольшой бачок с водой для мытья кружек — местное усовершенствование. Продавщица пирожков у дверей гастронома стояла с букетом цветов — отмахивалась ими от комаров... И вот прошел мимо меня загорелый человек в брезентовой куртке, сапогах и в на-

комарнике с откинутой сеткой. В одной руке он нес лопату и кайло, а в другой — промывочный лоток. И была в его походке упругость и легкость, появляющаяся обычно у человека к концу долгого перехода. Я посмотрел ему вслед с легкой завистью к тому ощущению, которое он испытывал сейчас...

### 3

Я очень люблю ходить. Впервые обнаружилось это лет в пятнадцать, когда гостил я у родственников в Белоруссии. Впрочем, и раньше, совсем в детстве, это было, в нашей деревне недалеко от Зарайска, где проводил я летние каникулы. С утра я брал корзину и уходил в лес, который знал наизусть. Я знал в нем не только все надежные, не раз проверенные грибные места, но помнил и случайные, где когда-то — может, прошлым, а может, и позапрошлым летом — наткнулся на одинокий подъяблоневый, или подосиновик, или белый. И в такие места я непременно заглядывал. Урожайное на грибы или неурожайное бывало лето, а я обязательно возвращался с полной корзиной, и бабушка с дедом (тонкие педагоги!) изумлялись: «Гляди-ка! Опять набрал! А мы уж думали, ты в Конаково ушел, за клубникой...» За лесом через поле был у нас Конаковский овраг, куда деревенские ребята ходили за ягодами. Но мне не нравилось ползать на животе по его склонам, я любил ходить. Теперь я так это понимаю. Тогда же — не понимал, мне казалось, что я люблю собирать грибы.

В Белоруссии было уже по-другому. Вдруг подступало неопределенное, но очень сильное желание идти — куда, зачем, я не знал. Но имелась у меня излюбленная дорога — по тропинке, вдоль мощенного булыжником шоссе, к Свислочи. На берегу ее, километрах в семи от

поселка, была старая дубовая роща. Большие деревья стояли просторно, без всякого подлеска, под ними росла густая короткая трава. Туда я в таких случаях и шел быстрым целеустремленным шагом. Однажды весь день собиралась, никак не могла собраться гроза, и вот перед вечером, когда уж совершенно ясно было, что сейчас она все-таки разразится, и первые тяжелые капли прошли на дороге толстый слой пыли, внезапно, словно ждал, сорвался и я и пошел, объятый каким-то восторгом, почти не различая ничего за сплошной стеною дождя... Потом стал уходить и на два-три дня, клал в рюкзачок хлеб, ветчину, несколько огурцов или яблок, а чтобы и не с о в с е м д а р о м идти — еще пару самодельных свинцовых гантелей...

Из последующих своих походов я очень люблю и помню сибирские. Мне было лет девятнадцать, я работал в экспедиции на Устье Илима. Партия наша стояла в трех деревнях: Бадарме, Карапчанке и Невоне. Никакой ГЭС там еще не было — только думали, где ее строить. Зимой я жил в Бадарме, но каждую неделю, на воскресенье, уходил в Карапчанку — километров двадцать по замерзшей реке. Между этими деревнями, посреди Ангары, был длинный остров Сизов, и на нем тоже стояла деревня. Дорога долго шла вдоль этого острова, под самым берегом. На всем вокруг лежал глубочайший снег, только невысокие песчаные обрывы были обнажены, там свисали стынущие древесные корни. Белое поле реки было не гладким, с небольшими застругами, отчего казалось, что река как неслась стремительно, да так вдруг мгновенно и остановилась...

Теперь-то я не бежал вперед безотчетно, как раньше, — я мерно шел, мне кажется, я уже чувствовал, в чем прелесть ходьбы. Я размышлял, я предвкушал всю неделю, как я пойду и буду размышлять. И никогда

не размышлялось так прекрасно, не думалось так высоко о жизни, как во время того неспешного движения по реке в полном одиночестве. Иногда нагоняла меня лошадка, и кто-нибудь знакомый, из деревенских, кричал мне: «Падай!», указывая на место в санях рядом с собой, но я отрицательно качал головой и махал ему с извиняющейся улыбкой. Сани быстро удалялись, а я возвращался к прерванному ходу... Нет, это не нить и не ход были, скорее мерное движение маятника, вперед-назад, и я возвращался к его ритму... Да, все дело, я думаю, было в ритме — мысли, сопки, моего движения, — постепенно они совпадали и, наверное, резонировали, потому что я вдруг убыстрял шаг или совсем останавливался в страшном волнении от озарившей меня и с т и н ы о ж и з н и, я с изумлением, будто впервые увидел, озирался вокруг, и все, что было замершим, застывшим, без намека на жизнь, преисполнялось ею, я ощущал гармонию бытия...

Ощущение это не удерживалось долго, но ради таких вот мгновений я и ходил. Причем понимал я уже, что походам моим лучше придавать вид естественный, подыскивать для них причину попроще... Однажды, придя в Карапчанку, захотел я дойти до Невона, «знаюмого техника проведать», как объяснил я бабе Сане, моей квартирной хозяйке. До Невона тоже было двадцать километров: десять по реке до Лосят, где сейчас плотина, и десять по берегу, лесом. Через Толстый мыс, через Тонкий... Техник Володя очень мне обрадовался, раздобыл у своей хозяйки пару бутылок жуткого мутноватого зелья, мы сели и начали вспоминать, как весело жилось нам в Братске. «А здесь и пойти некуда, — сетовал Володя, — бурундуки с вечера позатворяются в избах, на улице темень, ни души...» В углу стояла его кочка раскладная, на ней спальник, рядом рюкзак. Мы



все так жили. Правда, в Карапчанке у меня было по-лучше, я помещался один за перегородкой, там можно было ночью свечу зажечь и читать, никому не мешая... И вот, посидев с Володей, вдруг я объявил, что, пожа-луй, пойду.

— Ты что? — встрепенулся он. — Куда это ты пой-дешь на ночь глядя?!

— Да обещал я бабе Сане сегодня вернуться, — ска-зал я, хотя никакого такого обещания не давал.

— Слушай, ты это брось, — подозрительно загово-рил Володя. — Я понимаю... Я тебя еще в Братске понял, псих ты ненормальный!

— Нет, правда...

И я ушел. Как раз в то время я упивался «Песнью Большой дороги» Уитмена.

Едва ты придешь в город, куда направлялся,  
едва расположишься в нем отдохнуть,  
как властный зов тебя потянет вперед.  
Тебя проводят злобные улыбки, насмешки тех, кто  
остается позади.

На все изъявления любви ты ответишь лишь горячим  
поцелуем прощанья,  
ты не дашь удержать себя тем, кто простирает вслед  
тебе руки...

Злобных улыбок и насмешек тех, кто остается поза-ди, я не понимал, пропускал без внимания, но вот горя-чий поцелуй прощанья в ответ на изъявления любви — это было хорошо, это мне нравилось. А главное, ясно было сказано: не дашь удержать, ты не дашь уде р-ж а т ь с е б я...

О, большая дорога! Я люблю тебя.  
Ты выражаешь меня лучше, чем я сам могу себя  
выразить,—

бормотал я, вглядываясь в узкий, плохо различимый в сумерках санный след.

Был февраль. Морозы стояли сорокаградусные. Хо-лода я не ощущал, идти было даже жарко, только ноги мои в тяжелых валенках начали гудеть. Я решил от-дохнуть. Недалеко от Тонкого мыса (где сейчас город Усть-Илимск) был неглубокий овражек. Я лег на его склоне так, чтобы ноги оказались выше головы. Я вспомнил рассказы о том, как замерзают люди в пути. Смертельно уставшие, они вот так же ложатся или са-дятся отдохнуть и засыпают... Но мне-то это не грози-ло. Я не устал. Через несколько минут отольет кровь, и пойду. Я даже попробовал представить, что я смер-тельно устал и замерзаю. Я закрыл глаза, расслабил-ся... Над моим холодеющим лицом нависал голый черный куст. «Ну ладно, вставай», — сказал я себе. И не встал... «Ну полежи еще, считаю до десяти. Один, два, три... Все, поднимайся!» И — не встал. «Да ты что, смеешься?! А ну вставай!» — крикнул я и вскочил...

Allons! Нас влечет вдаль, все сильнее,  
мы уплывем в беспокойные, неизвестные моря,  
туда, где свирепствует ветер, бьют волны, где  
наш клиппер помчится вперед на всех парусах...

В тот вечер был необыкновенный закат, а сразу вслед за ним — я даже принял его сначала за последний отблеск заката — северное сияние, и я к нему еще вер-нусь... Я только хочу сказать, что в разных местах в разное время по-разному ходилось. После Сибири, на-пример, в университете, в нашей славной полутемной читальне на Моховой, я вдруг вскакивал, не дочитав фразы: невозможно было долее сидеть среди этого обилия поглощаемых книг, мыслей, чудих, своих — ка-залось уж, что они испаряются, мысли, насыщают са-мый воздух читальни, поднимаются к ее высокому, в аллегорических фигурах потолку. Я выбежал на улицу

и давал порядочный круг, обычно по Горького до площади Маяковского, отсюда по Садовой и до Восстания, потом по Герцена... Успокоения бег этот все равно не приносил, я возвращался в читальню, сдавал книги и ехал домой — с пустой совершенно, гудящей головой и каким-то тяжелым, неопределимым чувством...

Прекрасны зато были хождения (иначе и не назовешь) из Уэлена в Наукан, на самую оконечность Чукотского мыса. Уже не было внезапных и коротких откровений, исчезла неопределенность, сопутствовали там всегда спокойствие и сосредоточенность... Хорошо также, хоть и немного грустно, бродить сейчас здесь, в Юго-Западе Москвы, в нашем лесу, названном кем-то «зоной отдыха», в дождливые осенние будни, когда никто не «отдыхает», лес пуст, а многочисленные натоптанные его тропинки прикрыты облетевшей листвой...

4

Привыкнуть к светлым билибинским ночам приезшему человеку очень трудно. Давно бы надо спать, а уснуть невозможно. Сказывается, наверное, и разница во времени. Я встаю, смотрю в окно на прозрачный воздух над крышами домов, на облака, подсвеченные низким ночным солнцем, ложусь, ворочаюсь, снова встаю. Наконец одеваюсь и выхожу на улицу. Я иду к Григорию Сергеевичу Глазырину. За его зашторенным окном на первом этаже в глубине комнаты горит лампа — он тоже не спит в этот поздний час, работает. Но гостю он рад. Мы пьем чай, беседуем.

В невеликом холостяцком жилье Григория Сергеевича прежде всего привлекают внимание книги, обилие книг — в шкафу, на полках, на столе. Здесь литерату-

ра по геологии, истории, искусству и, разумеется, художественная. Много поэзии.

По специальности Глазырин гидрогеолог, работает в Анюйской комплексной геологоразведочной экспедиции. Почему-то наивно я полагал, что здесь каждый геолог — это нечто вроде прежнего старателя: обязательно с молотком, а то и с кайлом и лотком. Но гидрогеология?

— А проблема водоснабжения поселков, приисков? — спрашивает в свою очередь Григорий Сергеевич. — Порой же бывает необходимо не найти воду, а избавиться от нее. Всем этим занимаются гидрогеологи... Наконец, помимо основных методов поиска месторождений — шлихового, металлометрического, штупного опробования — существует еще гидрогеохимический метод. С его помощью можно обнаружить месторождения свинца, цинка, меди, олова, серебра, золота, других металлов. Ибо все, что вода моет, она растворяет, пусть в незначительных количествах. Мы, например, можем определить до 0,05 микрограмма золота в литре воды. Бывает и по 10, и по 20 микрограммов, и это говорит о том, что где-то близко рудное месторождение. Раз в воде находится, значит, откуда-то принесено. Чем ближе к месторождению, тем выше концентрация... А в некоторых сильно заболоченных районах, где шлиховое опробование невозможно, наш метод эффективнее...

За время нашего недолгого знакомства с Глазыриным я убедился уже, что познания его обширны и разнообразны. Особенно сведущ он во всем, что касается Чукотки — ее истории, географии, экономики, культуры... Но здесь надо отступить, рассказать, как мы познакомимся.

— Знаешь ли ты, что у нас открылся свой краеведческий музей? — спросил меня мой давний приятель,

билибинский журналист Валентин Колясников. — Есть здесь такой интересный Дед — Григорий Сергеевич Глазырин, он его общественный директор...

И я отправился в музей, небольшой домик недалеко от кинотеатра «Искра». Очень я люблю такие музеи — в них всегда стараются охватить историю от докембрия до последнего выпуска районной газеты. И делают это со страстью, с любовью к месту, в котором живут. Так и здесь — в маленькой, пока единственной комнате музея чего только не было: кости ископаемых животных, чучела птиц, геологические образцы. Вот мрамор с Люпвеема, притока Малого Анюя, каменный уголь с Большого Анюя, кварцевый метасоматит с золотом и полиметаллами с ручья Весенний, стопятидесятикилограммовая друза горного хрусталя, слепок золотого самородка «Юбилейный» весом более семи килограммов, поднятого на Каральвееме... На стене — расшитые кухлянки и торбаса оленеводов. В витрине вымпел и путевка билибинца Валерия Сергеева, проехавшего на мотоцикле от Билибина до Москвы. Он выехал в апреле, когда зимник доживал последний месяц, из Черского перелетел в Сеймчан на самолете и начал нелегкий путь по великой трассе, через Якутск, Алдан, до Большого Невера на юге Амурской области. В Москву он приехал в конце мая, затратив на всю дорогу около полутора месяцев...

Специальный стенд «Его имя носят поселок и район» посвящен выдающемуся ученому-геологу, одному из первооткрывателей колымского золота, Юрию Александровичу Билибину. В конце двадцатых годов Билибин, молодой тогда геолог, возглавил разведывательную экспедицию на Колыму и вместе со своими товарищами открыл несколько месторождений. Применяя геолого-статистический метод, он стал оценивать золо-

топромышленные перспективы Колымы. Впоследствии его метод получил название «Билибинского прогноза». Прогноз этот подтвердился... А сейчас промысловые приборы работают на ручьях и реках центральной Чукотки. У чукотского золота свои первооткрыватели, ныне лауреаты Ленинской премии геологи К. Иванов, С. Абаев, Д. Егоров, В. Логинов... Многочисленная армия геологических партий. Своя, не менее увлекательная и драматическая история открытия — история долгих неудач, пессимистических предсказаний и, несмотря ни на что, упорных поисков. Теперь, когда «оптимисты» все-таки победили, ощущаешь что-то очень справедливое и закономерное в том, что первый слепок горняков на Чукотке носит имя Билибина. Ведь именно на Колыме накоплен тот богатейший опыт геологов, горняков, строителей, без которого были бы невозможны нынешние темпы освоения Чукотки...

Жена ученого, Татьяна Васильевна Билибина, живущая в Ленинграде, узнав о музее, прислала несколько старых колымских фотографий Юрия Александровича и два именных, принадлежавших ему значка — «Стахановцу золотоплатиновой промышленности» (№ 980) и «Отличник соцсоревнования. Наркомцветметалл» (№ 3603)... Пока я рассматривал экспонаты музея, пришел, можно даже сказать — прибежал, сам Дед Глазырин, бодрый, подвижный, чем-то, показалось мне, особенно возбужденный. Потом я понял: он всегда такой. Я, кажется, не сказал, что Дедом называют его меж собой старожилы Билибина, и думаю, что он не обидится на меня, если и я буду так называть. По крайней мере, он сам в дальнейшем поведал мне, что когда-то, еще на фронте, его величали Батей. Из-за бороды. Борода целая и до сих пор — не такая, как у большинства бородатой молодежи, не кургузая квадратная бо-

роденка, но могучая густая бородаща. Только теперь вскипает в ней проседь — как-никак Деду уже за шестьдесят...

Так вот, прибежав, Григорий Сергеевич сразу начал показывать материалы, которые раздобыл недавно, будучи в командировке в селе Островном.

— Это фотография Ивана Ивановича Тальвавтына, оленевода, одного из первых коммунистов Чукотки. Работал председателем сельсовета в Островном. Награжден орденом Ленина. А это уже внук его, Николай Мельников, нынешний председатель!

...Глазырин поведал об идее создания народного краеведческого музея, зародившейся у кучки энтузиастов, о том, как был образован совет музея, как собирались, приводились в порядок, размещались экспонаты. Энтузиасты — это геологи, учителя, врачи района, работники Билибинской атомной электростанции. Есть у Григория Сергеевича и две ближайшие помощницы — Людмила Чавдар и Валентина Бирюкова. Обе они работают в Доме пионеров, а в свободное время дежурят в музее, выполняют роль экскурсоводов...

Пока мы беседовали, то и дело забегали дети.

— Смотри, рога! Смотри, бивень мамонта! Вот бы таким по башке, а! — шептались они, своеобразно выражая свой восторг. — А вон, гляди, на фотографии Виталькин отец! Вон, возле вертолета...

— Это главные энтузиасты, — сказал Глазырин. — Приносят кто камень, кто значок. Иногда и ненужное, но берешь. Чтобы не обидеть... По сути — для них все это. Писал ведь Пушкин: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Неуважение оной есть постыдное малодушие». А здешним детям есть кем гордиться и кого уважать...

Сам-то Григорий Сергеевич тоже немало сделал для

приумножения этой славы. На лацкане его пиджака значок с надписью «Магаданская область. Ветеран труда». Такой значок дается тем, кто отдал освоению Севера более двадцати лет. Участник Великой Отечественной войны, на Колыме он с сорок девятого, а здесь, в Билибино, с пятьдесят пятого года. То есть с самого начала, с палаток и маленького рубленого домика, в шутку окрещенного геологами гостиницей «Золотой клоп». (Когда, во время опробований, сверкнут вдруг в лотках небольшие самородочки, на условном языке поисковиков это звучит так: «Появились клопы». Или: «Появились тараканы».) Исходил Глазырин пешком весь район, от побережья Ледовитого океана до верховьев Омолона. И вопреки своей в общем-то очень не легкой судьбе, не утерял ни остроты ума, ни пристального интереса к окружающему, ни какой-то азартной торопливости в работе — всего, с чем впору только начинать жить человеку.

Надо сказать, что Григорий Сергеевич — активный корреспондент районной и окружной газет. Большинство его материалов — из местной истории. А иногда вся газета посвящена работе геологов, и тогда на последней полосе можно прочесть примечание: «Материалы этого номера организовал и подготовил к печати работник Анюйской экспедиции Г. С. Глазырин». Все это — естественное дополнение к его музейной работе. Дома стол у него завален исписанными листами бумаги, подшивками старых газет, книгами с торчащими из них длинными закладками. Я знаю: у Григория Сергеевича идея — систематизировать все собранные им материалы и написать историю района. Над ней-то он и трудится светлыми билибинскими ночами, отгородившись от навязчивого солнца шторой и включив настольную лампу.



...Однако я засиделся у него, заслушался, пора уходить. Дед Глазырин провожает меня. Отмахиваясь от комаров, мы бредем по тихим, безлюдным улицам. Кругом тайга, а этим улицам так не хватает деревьев.

— Гидрооттайка... Вода уходит вглубь, деревья засыхают, — сокрушенно объясняет Григорий Сергеевич и вдруг предлагает: — Сходим в парк?

Я соглашаюсь. Я понимаю: поход наш не бесцелен. Однажды вечером мы уже ходили туда, в дальний угол парка, к пересохшему руслу ручья. Оказалось, ручей чем-то мешал строителям, и временно они перегородили его.

— С месяц как уже засыпали, а работы всего-то на два дня! Ну вот разве ей не нужна вода?! — негодовал тогда Дед, указывая на наклонившуюся лиственницу. — Или вот ему?! (Имелся в виду тополь.) Завтра же пойдешь в поссовет!

«Наверное, он уже был в поссовете», — думаю я. Мы переходим мостик через Каральвеем. Минуем стадион. Комары свирепеют. Спустя несколько десятков метров нам открывается ручеек. Он полон. Пьет накренившаяся лиственница. Пьют топольки и остролистые чозении. Пьет трава. Некоторое время Дед молча, удовлетворенный, смотрит, а потом мы возвращаемся домой.

## 5

Названия улиц в Билибине характерны для многих поселков Чукотки и Колымы: Геологов, Строителей, Мандрикова, Сеймчанская, 30 лет Советской Чукотки... Но есть одно, вряд ли еще где в области повторяющееся, — улица академика Курчатова, человека, стоявшего у истоков советской атомной промышленности.

В годы войны Курчатова возглавил группу ученых

работающих над «урановой проблемой». Тогда же был пущен первый экспериментальный атомный реактор. В 1954 году дала ток Обнинская атомная электростанция, положившая начало мирному использованию атома. Спустя еще десять лет введены были в эксплуатацию мощные энергетические блоки на Белоярской и Ново-Воронежской АЭС. Строительство атомных электростанций открыло перед энергетикой новые перспективы.

Проектная мощность Билибинской АЭС сравнительно невелика — около 50 мегаватт. Однако для Магаданской области, для освоения дальневосточного Севера это — вежа. Электроэнергия, которую даст «атомка», — условие дальнейшего развития производительных сил области, в частности Анюйско-Чаунского горнопромышленного района...

На улице Курчатова пока только три дома, пятиэтажных. Видимо, с учетом домов, которые еще будут построены, номер третьего дома — 8-й. Здесь на втором этаже разместилась дирекция строящейся Билибинской АЭС. Ее главный инженер, Евгений Владимирович Корягин, заученно и быстро перечислил мне:

— Постановление Совета Министров СССР о строительстве принято в январе шестьдесят шестого года. В декабре — первый взрыв. В шестьдесят девятом первый бетон... На третий квартал будущего года назначен физический пуск. На четвертый квартал — энергетический пуск...

— Извините, а что такое «физический пуск»? — неосторожно спросил я.

Тут на озабоченном лице Евгения Владимировича мелькнула какая-то идея:

— Сейчас я представлю вас одному из наших работников, и он вам все-все расскажет и покажет.

Пришел молодой светловолосый человек, Владимир Кузьмич Абалакин. В Билибине он всего несколько месяцев, но «атомный» стаж у него серьезный. Закончил Московский энергетический, работал старшим инженером управления реактором на «Белоярке», потом в алма-атинском институте ядерной физики, тоже на реакторе... Сюда приехал дежурным инженером станции. Хотя «атомка» еще не действует, но у дирекции сейчас много дел: окончательно определить объем пуска наладочных работ, заключить соответствующие договоры с подрядчиками, следить за качеством работы строителей...

Мы сели в машину и отправились на стройку. Километрах в полутора от поселка, слева от дороги, на вершине сопки стояла «Орбита». Снизу, на фоне неба, она выглядела большим грибом со сдвинутой набекрень шляпкой. Я уже знал, что телевизионная станция — гордость билибинцев. Строили ее все организации на общественных началах: геологи сделали привязку, строители пробили дорогу... «Это же первая на Чукотке «Орбита!» — не раз слышал я. И при этом добавляли с веселой усмешкой и как бы по секрету: «А в Анадыре-то появилась только год спустя, да и то, говорят, изображение у них плывет...»

От поселка до «атомки» — километра четыре-пять. Перед зданием электростанции на низком бетонном постаменте четыре огромные, тоже бетонные, буквы: БАЭС. Здание развернуто к дороге темной, не отделанной еще торцевой стеной с отверстыми проемами окон... После гигантских строек, таких, например, как Братская, Усть-Илимская ГЭС, после могучих кранов, шагающих экскаваторов, бесчисленных огней электросварок, немолчного рева машин, многотысячной армии строителей, после скал стометровых и плотин, перед которыми

скалы эти кажутся игрушечными, вид строящейся БАЭС, может быть, даже и не впечатляет. Широкая, открытая долина. Посреди ее — скорее можно угадать по темно-зеленой полоске, чем различить — ручей По-неургин. И на пологом склоне одной из сопки — прямо-угольный дом, довольно большой, правда, метров тридцать высоты, метров сто длины. Главный корпус. Рядом сооружения поменьше: склад, мастерские, управление строительством... Людей почти не видно, все внутри.

Владимир Кузьмич находит где-то пару касок, надеваем их, входим в главный корпус. Вернее, это не главный еще, это вспомогательный, примыкающий к торцу главного, здесь разместятся химводоочистка, мехмастерская, санпропускник и другие принадлежности большого атомного хозяйства. Мы поднимаемся по деревянным лестницам, переходим по узким мосткам, пролезаем в незакрытые стенные проемы. По всему зданию на разных отметках трудятся бетонщики, каменщики, кровельщики, монтажники. Мы идем, разумеется, в реакторный зал. Здесь уже готовы четыре глубоких бокса с толстыми стенками из специального бетона. В них и будут монтироваться реакторы. К монтажу первого уже приступили: на дне бетонного колодца лежит нижнее основание реактора — круглая стальная плита, усеянная множеством цилиндриков. Напоминает гигантскую терку. В других боксах временно размещены прочие части реактора: кожух, кольцевой бак биологической защиты. Наверху, у наших ног большое металлическое полукольцо — компенсатор. Он нужен на случай нагрева корпуса реактора при работе. Поверх колодца ляжет защитное перекрытие из железосерпентинитового бетона, замедляющего нейтроны...

Мой спутник объясняет, как будет действовать ре-

актор. Я слышу: «Обогащенный уран... нейтроны... коэффициент размножения... температура графита... поглощающие стержни... ксенон... «отравление» реактора (даже и такое может быть)...»

— Ну а что все-таки означает «физический пуск»? — спрашиваю я.

Оказывается, физический пуск — это, приблизительно говоря, экспериментальная проверка реактора. Реакторы хоть и типовые — кстати, здесь того же типа, что и в Обнинске, — но каждый рассматривается физиками индивидуально. В это время к нему относятся не как к источнику тепла, а как к физическому нейтронному устройству... Только после такой проверки происходит пуск энергетический. Дальше все «просто». Энергия ядерного распада, совершающегося в реакторе, передается воде, превращает ее в пар, а энергия пара в турбогенераторе преобразуется в электрическую. Одной загрузки реакторов топливными стержнями хватит на полтора года работы. Для Билибина, куда всякое другое топливо, вроде угля или нефтепродуктов, доставлять сложно и дорого, это очень выгодно. Себестоимость киловатт-часа понизится в несколько раз.

Решит Билибинская «атомка» и другую проблему. Она задумана как теплоэнергоцентральный, и в этом ее отличие от других АЭС. Часть тепла, вырабатываемого в реакторе, пойдет на нагревание воды в теплотрассе «БАЭС — поселок». Для обеспечения водой поселка и электростанции в трех километрах от нее, выше по ручью, сооружается водохранилище... Зимой над Билибином обычно висит черное облако — от многочисленных дымов из труб. Даже снег на улицах — закопченный. Как только начнут действовать не менее трех блоков электростанции, котельные в поселке прекратят свою работу. Станет в Билибине чисто...

Посмотрели мы с Владимиром Кузьмичом и машинный зал, и место, где будет диспетчерский пункт с пультами управления. На каждые два блока — один пульт. За каждым пультом — два обслуживающих его инженера... «Атомка» есть «атомка». В санпропускнике у всех эксплуатационников будет по два шкафчика — для домашней одежды и рабочей. Спецодежда — белая...

— Белая — это красиво! — сказал я.

В самом деле, будто с иллюстраций к научно-фантастическим романам, читанным в детстве: громадное окно, по эту сторону люди в легких светлых одеждах, по ту — какие-нибудь дикие скалы, или чудовища, или поллярные льды...

— На белой одежде грязь виднее, — ответил Абалакин. — Грязь может быть «активной». Обнаруживает это специальный прибор. На одежде она не опасна, но лучше, конечно, ее удалить. Для «грязной» одежды предусмотрена спецпрачечная. Стирают там машины. Помой после стирки идут на спецводоочистку, потом «чистая» вода сливается, а «активные» остатки направляются в так называемый «могильник» — хранилище жидких отходов...

Мы вышли наружу. Под удивительно жарким для Чукотки солнцем млела долина. Горизонт замыкали сопки, не очень-то изменившиеся со времен мезозоя. Склоны их были утыканы тонкими, но старыми листовницами. Возле невидимого ручья сгрудились тополя и чозении — реликты третичных эпох. Из мхов торчали валуны, окатанные ледником... «Все мы, еще со школы, — подумал я, — знаем о микромире, наслышаны, в большей или меньшей степени, о происходящих в нем процессах. И то, что человек научился управлять этими процессами, нас уже не впечатляет. Это нам кажет-

ся закономерным. Но что управлять он будет здесь, именно в этом месте, где лет двадцать — тридцать назад не только о движении атомов, а и вообще о каком-либо движении трудно было помыслить, — это, конечно, впечатляет... Пока... Потому что Билибинская АЭС — первая в нашей стране «атомка», строящаяся в восточном Заполярье. А возможно, наступит время, когда название — улица Курчатова — станет по Северу столь же распространенным, как, скажем, Геологов или Дежнева...»

6

...Да, так вот, был в тот вечер необыкновенный закат. Начался-то он, как обычно, с узкой полоски, но все разгорался, высвечивая на быстро темнеющем небе все новые облака. Я бежал — так говорят в Сибири про ходьбу — гайгой и, когда поднимался на сопку, видел закат сквозь деревья, потом спускался в глубокий распадок, где его отблески продолжали мерещиться мне на стволах. Я в самом деле почти бежал. Спустившись с Толстого мыса к реке, я увидел, что закат успел охватить весь горизонт — оставалось совсем немного, чтобы сомкнуться ему на востоке, — а сверху надвинулся до зенита. И все это происходило в полнейшей тишине — вот что казалось неестественным! Посреди Ангары торчали Лосята — три острова с высокими, не засыпанными снегом, каменными берегами. Сейчас, в сумерках, их обращенные к закату бока отливали багровым цветом. С противоположной же стороны была совершенная чернота... Никогда и нигде больше не видел я таких закатов. Потом я описал их в письме к своей школьной учительнице, и она ответила: «Я знаю, насмотрелась в эвакуации. Томящие тоской...» Но у меня

тогда было другое ощущение — тревоги... Ниже, напротив Толстого, в отдалении друг от друга, стояли наши буровые. Выйдя на середину реки, я услышал отраженное сопками постукивание движков, увидел, как вспыхивают и меркнут лампочки, подвешенные над тепляками. Иногда дверь тепляка на мгновение растворялась, в светлом проеме мелькала темная фигура. Я представил раскаленную железную печку из бочки, чайник на краю с медленно обращающейся заваркой, знакомого коллектора, дремлющего на ящике для керна... Это как-то успокоило меня, я двинулся дальше.

Закат пошел на убыль, пламя его постепенно втягивалось в расщелину между сопками, словно кто-то понемногу подвертывал там горелку. Наконец и совсем стало темно, только высоко в небе никак не исчезало бледное розовое пятно. Свет был настолько призрачный, что я несколько раз буквально протирал глаза. «Надо же, — бормотал я, — не хочет гаснуть!» Казалось мне, что это — все закат... Я то и дело оглядывался — пятно не меркло, а разгоралось. Сначала оно просто увеличилось и стало ярче, потом отчетливо обозначились вертикальные складки, как на занавеси. И цвет возле складок был гуще. Теперь они ниспадали с высоты к горизонту. Я знал про северное сияние и представлял его многоцветным, переливающимся, движущимся на глазах — здесь же не было переливов, была почти полная неподвижность тяжелой портьеры, которая вдруг слабо, еле заметно, как от дуновения, колыхалась. И цвет был один — красный, но многих оттенков...

Усталость и тревога мои прошли, я с легкостью шел мимо темного берега и уже угадывал вдали тусклые огоньки деревни. Придя к себе, я тут же, не раздеваясь, потянул бабу Саню на двор и спросил, что это.



«Столбы, мой, столбы, — отвечала она. — Эчо, моро-зишшо-то, лицо так и берецца!»

Зато на другой день наши экспедиционные рабочие в ответ на мои восторги объяснили мне, что это все — туфта, это не сияние, а вот на настоящем Севере — это сияние, да!.. От них я и наслушался в те времена разговоров про Лену, Колыму, Магадан... Знакомые по урокам географии, абстрактные эти наименования звучали в их устах по-будничному доступно. «Доезжаешь на поезде до Усть-Кута, оттуда первым же пароходом сплавляешься до Якутска, из Якутска самолетом в Берелех, а там-то по трассе, совсем рядом...» Все равно как если бы вы в Москве объясняли: «Сядете на «Аннушку», сойдете на третьей остановке у Зоопарка, а дальше на метро...» Но была в этой будничности, в этой небрежности упоминания своя, как я понимал, тайная гордость: «Вот я там был, прошел, а поди-ка ты побывай!» И возникали споры:

— Да что твой Оймякон?! Летом жарится, а зимой сала с маслом нажрешься, так и в фуфайке не замерзнешь. На улицу выходишь, будто сто грамм принимаешь...

— А ты про дождь с туманом и ветром слышал?! Идет человек по тундре, из сил выбьется и замерзает. От пере-о-хла-жде-ни-я, в июле, понял?!

— Колыма, Колыма... а вот Яна!

У каждого был свой Север — в воспоминании, и Север этот оказывался самым истинным, самым северным из всех... А сходились в одном: что эта, самая глухая в ту пору, срединная часть Ангары, с несколькими деревушками в тридцати-сорока километрах друг от друга, с единственной дорогой — по реке: зимой на санях, летом на лодке, и даже с сиянием, — не Север. Впоследствии-то, вспоминая такие разговоры, я был

уверен, я прямо слышал, как кто-нибудь из этих же хулигелей, выбравшись на трассу и соображая, куда ему теперь податься, на запад или восток, говорил случайному попутчику: «А что твой Братск (или — Заярск. Или — Тайшет)? Вот я на Устье Илима работал...» Но тогда, после Устья, с каждым новым путешествием я забирался все дальше, все севернее и одновременно восточнее — Якутия, Магадан, Чукотка, пока и мне наконец не открылся мой настоящий Север, треугольник земли, отсеченный стовосьмидесятым меридианом, так что на карте мира его приходилось печатать дважды: в правом и левом верхних углах... Но дело, конечно, не в географии. Уэлен, например, даже не за Полярным кругом находится — Полярный круг от него в нескольких километрах, в море. Дело в ваших собственных ощущениях, бог весть по каким приметам, но безошибочно определяющих: не Север, не Север, еще не Север... стоп, Север!

Я не забуду, как в шестьдесят четвертом году, после университета, впервые приехал в Уэлен, на учительскую работу. Перед тем я попал в Лаврентия, районный центр, где как раз проходило августовское (почему-то это слово произносили с ударением на «о») совещание учителей. Завроно говорил о каких-то проблемах, с которыми я еще не сталкивался, и задачах на новый учебный год. Мне было неинтересно, я смотрел в окно на близкие сопочки. По бурым их склонам носились стаи собак, справляли осенние свадьбы. Поселок мне не понравился. Стоял он на берегу широкого скучного залива. Несколько длинных приземистых барачков — первые, видно, постройки — вытянулись в ряд, остальные дома были раскиданы кругом без всякой системы. Плавные сглаженные очертания невысоких окрестных сопочек навевали какое-то уныние. Очень даже

может быть, что разочарование это было естественной реакцией: я ожидал увидеть на Севере нечто необыкновенное...

До начала учебного года оставалось всего дня три, погода была нелетная, и узленские учителя отправились домой на вельботе. Мне, как одетому наиболее легко, заврону дал свою зимнюю шапку и брезентовый плащ с капюшоном. В заливе было сравнительно спокойно, но едва миновали мы плоский мыс с решетчатой пирамидой маяка и вышли в море, как начало нас подбрасывать. Команда поставила брезентовые борта от брызг. На руле сидел пожилой эскимос невысокого роста. Это был Утоюк, председатель узленского сельсовета. Спустя два года он погиб — в день выборов понес на Науканскую полярку урну для голосования. Погода была плохая, слегка мело. Перед Науканом есть так называемая Долина смерти, в которой сходятся несколько распадков. Зимой там очень часто пуржит, даже когда в округе тихо. Утоюк, видно, заблудился в белой мгле, повернул не в тот распадок и пошел в противоположную Наукану сторону. Охотники нашли его замерзшим в тундре через два дня. Он прошел километров сто. Его замело, но обтянутый красной материей ящик лежал у него на груди и далеко был виден на белом снегу...

Тогда же я не слыхивал еще о Наукане, о Долине смерти, не знал и Утоюка — я только поразился его выносливости: мы плыли часов четырнадцать, и все это время он молча и неподвижно сидел у руля не сменяясь. Зато моторист, эскимос помоложе, был весьма оживлен, особенно в начале пути. Поскольку я сидел рядом с ним, он избрал меня своим слушателем, спел мне до обидного неуместную в этих краях песенку: «На далеком Севере эскимосы бегали...» — и предложил махорки, пожевать...

По дороге мы ненадолго остановились в Нунымо, небольшом селении недалеко от Лаврентия. Здесь разделявали сразу двух китов. Разделка шла давно, скелеты были почти обнажены. Издалека можно было подумать, что строили большую лодку. Я не берусь описывать и сравнивать с чем-либо запах разделяемого кита, это и невозможно, я приложу к нему только один весьма субъективный эпитет: повелевающий. Есть множество запахов, приятных и неприятных, которые мы обоняем незаметно для себя, почти не отдавая себе в том отчета, но этот запах именно повелевал не только немедленно заметить, но и тут же определить свое отношение к нему. Он как бы говорил: «Ты не отдаешься уклончивым «можно терпеть», тут сразу — или принять, или не принять, но учти: если ты надеешься полюбить этот берег без меня, тебе это не удастся, потому что я неотделим от этого берега...» Впоследствии я узнал многие запахи Чукотки: запах снега, тундры в самом начале лета, южного ветра, копальхена, моржового мяса, которое всю зиму протомилось в яме, плохо выделанной шкуры, запах свежей корюшки, неотличимый от запаха молодого, только что сорванного с грядки огурца, — но всем, кто приезжает на этот Север с намерением его узнать, я для начала рекомендовал бы запах разделяемого кита...

Потом мы долго шли по Берингову проливу, вдоль черных отвесных каменных стен с темными треугольниками пещер, выбитых штормами. Иногда стена прорезалась узким распадком, и тогда вдаль можно было видеть склон сопки, золотистый или темно-фиолетовый. Навстречу нам, на юг, низко над водой летели большие стаи уток. Быстро смеркалось. Какое-то время берег еще угадывался слева от нас неясной темной массой, но скоро слился с чернотой. Все пассажиры сбились в ку-

чу в середине вельбота, укрылись брезентом и задремали...

Я пробудился от выстрелов. Наш капитан несколько раз выпалил из карабина в воздух, и это был знак, что мы подходим. Сколько я ни вглядывался в темноту перед собой, мне не удавалось различить ни берега, ни домов, ни огней, лишь в стороне, где-то очень высоко, равномерно вращался яркий луч света. Пробегая над морем, он укорачивался, настолько непроницаемой даже для него была ночь, и, на мгновение ослепив, начинал удлиняться и изламываться, скользя по сопкам.

Мотор заглох, вельбот несильно ткнулся в берег, мы стали выгружаться. Вдруг одна из женщин, которая, как и я, только что приехала с материка, охнула: «Батюшки, медведь!» Все засмеялись. «Медведем» оказалась неслышно возникшая из темноты обыкновенных размеров белая собака. Мы принялись вытаскивать вельбот. «То-о-ок! То-о-ок!» — кричала команда. Я быстро усвоил, что под протяжное «То-о...» надо собраться с силами, а при энергичном коротком «ок!» тянуть. Нечто вроде нашего «Раз-два — взяли!»

Потом меня проводили в учительский дом, устроили на ночлег, и едва я стащил свои одежды, лег и закрыл глаза, как длинная и плавная волна океана снова меня подхватила. Только теперь это была еще и теплая волна...

Наутро я пошел посмотреть на поселок. Я сразу увидел маяк. Серый домик с башенкой стоял над обрывом, на склоне большой круглой сопки, совсем не так высоко и далеко, как это выглядело ночью. Я поднялся к нему. Отсюда хорошо было видно неширокую, но длинную галечную косу, отделяющую лагуну от моря. За лагуной лежала тундра, ее пологие холмы постепенно повышались к горизонту. Километрах в тридцати на

западе в море выдавался мыс, подобный тому, на котором я стоял. Вдоль косы тремя рядами выстроились немногие домики поселка. Конец августа — для Чукотки поздняя осень. Все было окрашено в мягкие — голубоватые, зеленоватые, желтые — тона... Меня поразила эта картина. В ней не было изломанных линий, мрачного колорита Берингова пролива, не вызывала она ощущения затерянности на краю земли (а здесь как раз и был край земли) — в ней были завершенность, спокойствие и простота. И я понял, что отныне мне предстоит постигать на Севере именно это спокойствие и простоту...

7

Перед зданием дирекции билибинского горно-обогатительного комбината (ГОК) есть Доска почета с портретами передовиков и тут же невысокая мачта со звездочками. На эти звездочки я поначалу не обращал внимания, принимая за обычное украшение, пока не услышал однажды разговор прохожих:

— «45 лет» горит, «Аньюский» горит, остальные не горят...

— И комбинат не горит.

— А вчера горел?

— Вчера тоже не горел.

— Плохо.

Звездочек было шесть: по числу приисков в районе, и одна общая, комбинатовская. Горящая звезда означала, что суточный план добычи золота выполнен. Каждый билибинец, проходя мимо ГОКа, обязательно посмотрит на звезды...

С весной, с появлением воды в ручьях и речках, начинается для золотодобытчиков настоящая... не хочется говорить — страда, так уже затаскано это слово, но

иначе действительно не назовешь. Из всех многочисленных видов страды, по всеобщности и напряженности, по азартности интереса к ней, более всего она напоминает мне уборку хлопка в какой-нибудь из среднеазиатских республик. В Ташкенте, например, в такую пору можно спросить незнакомого человека: «Сколько уже, не слышали?» — и тут же, не уточняя, о чем речь, он ответит: «Четыре пятьсот...» Да, а проще: начинается промывочный сезон, который длится до наступления холодов — теоретически, а практически — иногда и дольше. В газетах — от областной «Магаданской правды» до районной «Золотой Чукотки» — ежедневно помещается табличка: «Календарь промывочного сезона. Выполнение плана добычи золота за минувшие сутки...» В Средней Азии цифры обозначают тысячи тонн. Здесь — проценты.

Что мы, подавляющее большинство из нас, знаем о золоте? Из политэкономии: «Золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по природе своей золото и серебро». Из юношеского романтического чтения: «— Нам нечего есть, — сказал он. — Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все это золото будет нашим. — И мы осмотрели золотоносную жилу, которая вырисовывалась на скале, как настоящая жила на человеческом теле, измерили ее, очертили сверху донизу, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по неприступной стене наверх и двинулись в обратный путь». И т. д.

В Билибине все намного проще, будничнее, чем у

Джека Лондона, и — намного сложнее. О золоте здесь говорят меньше всего. Речь идет о ремонте горного оборудования, о зимней и летней вскрыше торфов, об улучшении использования землеройной техники, о том, что пески на одном прииске обходятся дешевле, чем на другом, и почему... Говорят о повышении квалификации бульдозеристов, о режиме экономии, о том, что если для зимней вскрыши применять взрывчатое вещество игданит и экономить на буровой стали, то себестоимость кубометра торфов окажется значительно ниже... В один из вечеров пустая гостиница, в которой я жил, внезапно населилась молчаливыми, чем-то озбоченными людьми. Это было руководство приисков, собравшееся на районный партактив. Только что закончился июнь, середина года, а звездочки приисков чаще не горели, чем горели. Это называлось «задолженность по металлу». В Билибино прилетело областное начальство. С совещания приисковики вернулись еще более мрачные и неразговорчивые — видно, комплиментов им там не говорили — и тут же разъехались. Не знаю, что они сделали, но в последующие дни звездочки начали загораться. Горела и звезда ГОКа.

— ...Мне бы только посмотреть на это золото, увидеть, откуда оно, — сказал я в комбинате и на завтра уже ехал на прииск «45 лет ВЛКСМ». Спутником моим был Энгельс Егоров, председатель объединенного комитета профсоюзов. По профессии он геолог, в Билибине шестнадцать лет, первые палатки ставил. Он тогда горным мастером работал. «Эх и бригада у меня была! Одного звали Перс. Бывало, наряд закрываешь: «Ну как тебя все-таки писать? Иванов? Петров?» — «А, пиши: Перс...» Как сейчас помню: Перс, Чих-Пых, Иван Черт, Тарзан... И если бы мне кто тогда, в пятьдесят

седьмом, сказал, что здесь пятиэтажные дома будут стоять, а сам я, раздевшись до трусов, буду перед телевизором сидеть, я бы спросил: ты что, — Энгельс покрутил возле головы пальцем, — ошалел?! Мы возле аэродрома медведей били... А сейчас Билибино — что? Город!

Я припомнил, что в пятьдесят седьмом жил как раз на Устье Илима, и хотя знал наверное, что возле Толстого мыса будет город, все равно это трудно было представить...

С дороги, ведущей на «атомку», мы повернули влево, на Встречный. (Обычные названия поселков, распадка, ручьев — Встречный, Дымный, Спорный... Убили утку — Утиный. Много комара — Комариный. Много ягод — Ягодное. И вдруг, как напоминание, что ничто человеческое геологам не чуждо, — ручей Мизер...) Кругом — сопки, невысокие, округлые, сглаженные ледником. Есть и нетронутые, заостренные. Иные склоны будто овечьими ножницами стригли: бульдозер ходил, сгребал грунт для отсыпки дороги. По сторонам груды развороченной земли и камня, между которыми, полузадушенный, все-таки пробивается ручеек. Это — отвалы, то, что осталось после промывки. В них еще есть золото, их еще будут перемывать. Не боясь машины, сновали евражки, длиннохвостые суслики, жители чукотской тундры. Но что они делали здесь, в отвалах, когда вокруг ни одной живой травинки? Перевал Крутой. Действительно, очень крутой. Речка Энмынвеем — Скалистая. Русло ее усеяно гладкими, торчащими из воды серыми валунами. Один такой валун, весом более двадцати тонн, несколько лет назад перевезли в Билибино. Теперь он стоит среди ромашковых клумб, против здания Анюйской геологоразведочной экспедиции, а на нем — бюст Ю. А. Билибина. Матери с детишками

проходят мимо памятника, спр шивают: «Это кто?» — «Дядя Юра-а...»

И вот появились ГЭПы — гидроэлеваторные приборы, громоздкие и неуклюжие, будто динозавры. Один из них перекинулся через дорогу, и мы проехали под ним, как сквозь арку. Поодаль, в ряд, словно на водопое, стояли еще три. Здесь был первый участок прииска. Ближний промприбор наполовину заслонялся высоким валом. По эту сторону вала трудился бульдозер. С той стороны, откуда-то снизу и вбок, вдруг вылетела сильная струя воды, потом исчезла. Мы перебрались через груды валунов. Внизу был дощатый настил с будочкой, на котором стоял монитор. Из него и била вода. Бульдозер столкнул вниз, на грохот, очередную порцию песков, мониторщик направил на нее струю, преследуя ее и отшвыривая в сторону увесистые, килограммов на двадцать-тридцать, камни. Мелкая, размытая порода провалилась в bunker, оттуда вместе с водой по трубе, под действием насоса, понеслась высоко вверх, на колоду. Колодой называлось длинное, в несколько десятков метров, наклонное деревянное корыто. Горка. Такие горки, только меньше значительно, зимой во дворах устраивают. Подняться вверх, съехать вниз... Так и порода, с той разницей, что вниз, в «хвосты», уходит ее легкая фракция, а тяжелая, в данном случае шлик, остается. «Там, наверху, в желобе, — объяснял Егоров, — уложены резиновые коврики со специальным узором. Потом металлические трафареты. В них золото и оседает. Вся хитрость...»

Бульдозерист по сигналу мониторщика все подавал и подавал пески. Им не было видно друг друга, и мониторщик сигналил флажком: дергал за веревочку внутри будки, и на крыше ее поднимался флажок на подобие семафора. Мол, давай! В Магаданском музее я

видел макет механического промывочного прибора 39-го года. Его производительность была 250—300 кубометров песков в сутки. Обслуживали 100—150 человек. Этот перемывал в среднем тысячу. Работали двое. Но это была, конечно, не вся бригада. Дежурили еще электрик, слесарь и сварщик. Имелась еще вторая смена. Работали по двенадцать часов. Пробовали перейти на восьмичасовой — упала производительность. Не успевали разработаться, частые пересменки ломали ритм... Были в бригаде, кроме того, горняки: бурильщики, забойщики, взрывники. Большинство из них наслаждались сейчас жизнью на материке: грели кости где-нибудь в Лазаревской, или, наскучив югом, посиживали с удочкой в родимой деревне, над родимым прудом. К зиме съедутся, начнется зимняя добыча песков. Пески на этом прииске — подземные, с глубины сто и более метров. Десятки тысяч лет тому назад прошелся по этой долине самый первый бульдозер — ледник. Все перепахал, нагромоздил перед собою вал и так оставил. В глубь этого вала, морены, и пробиваются теперь горняки. Старший горный мастер Вадим Артемчук показал нам шахту. Под небольшим углом (не более 16 градусов, чтобы могли транспортеры тащить наверх породу) уходил под землю черный туннель. На улице было около тридцати жары, а здесь, сразу за обитой войлоком дверью, лежал монолит льда. На глубине во все стороны от штольни расходятся выработки. Всего вынута из этой шахты больше полумиллиона кубов. Те пески, что сбрасывал бульдозер под струю гидромонитора, — это отатки. Шахта закрыта, неподалеку заложена другая, крупнее этой... Вокруг нее уже стоят вспомогательные постройки: кузница, слесарка, компрессорная, бокс для ремонта бульдозеров, чтобы не гнать их, в случае чего, в поселок, буфет, куда привозят горнякам пи-

щу... План зависит от многих вещей, не только от количества добытых песков. Сломался, к примеру, не выдержал такого темпа бульдозер — ГЭП стоит. «Как думаешь, за сколько времени можно разобрать почти полностью и вновь собрать бульдозер?» — спросил Артемчук. Я пожал плечами. «Так вот, в конце смены полетел у бульдозера задний мост. Не ушел домой бульдозерист, не ушел слесарь, и втроем, со сменщиком, ребята раскидали машину и снова собрали за тринадцать часов! Зависит от коллектива. Сказал бы один: я свое отработал — суток двое простоял бы...»

И не только от коллектива, от состояния техники, от виртуозности мониторщика зависит. Бытует на приисках всем хорошо известный термин — «неотход среднего содержания». Среднее содержание золота в кубометре песков определяет геологоразведка. Таким образом устанавливается план: с этого участка должны взять столько-то золота. И вот требуемый объем породы перемывается, а ожидаемого количества золота нет. Среднее содержание не отходит... В прежние годы обычно отходило. Законные претензии горняков к геологам: обеспечьте прииски надежной сырьевой базой. Приросту добычи должен сопутствовать прирост запасов...

Конец месяца... Первый участок свой план выполнил, а второй нет. Прииск «горит» — не в буквальном смысле, там, рядом с Доской почета, а в переносном. В итоге мониторщики первого участка поживее начинают ворочать пушкой, а бульдозеристы не слезают с машин всю смену, чай и бутерброды им подают в кабину. Первый участок должен перекрыть второй. Прииск должен гореть буквально — звездочкой на карте. В противном случае другому прииску нужно перевыполнить свой план, чтобы горела звезда комбината. Не

справился билибинский ГОК, должен поднатужиться полярнинский, изыскать резервы Колыма и т. д. Потому что из всех этих планов складывается план области...

Пока мы ходили по участку, остановился один из ГЭПов, там начался съем. Мы поднялись. Наверху нас встретила девушка из охраны. Егоров забыл свой пропуск, у меня его вообще не было, но благодаря авторитету Артемчука нас допустили. К промприбору подошла специальная машина — шлиховоз. Колода была вскрыта, посреди желоба стояли две женщины-съемщицы, в брезентовых робах и резиновых сапогах. На ковриках желтело золото. Они стряхивали его в круглые высокие банки — контейнеры с надписью «ГЭП № такой-то». Тут же в качестве «тяжелой фракции» валялись гвозди, болты, железные костыли, вынесенные вместе с породой из шахты. Одна из съемщиц наклонилась и подобрала небольшой самородок. Я попросил посмотреть. Он лежал на моей ладони, мокрый, тускло-желтого цвета — в оплощенный человеческий труд. Пробивались Северным морским путем пароходы, лопались от мороза резина у шоферов на зимнике, торопились с жильем строители, вгрызались в мерзлоту шахтеры, и в результате этих и еще многих других соединенных усилий явился из недр на свет этот кусочек металла. И никого он — по крайней мере из тех, кто работал здесь и имел к нему самое непосредственное отношение, — не «ослеплял», не «лишал рассудка»... Я бросил самородок в контейнер.

— Вон еще. И вон, — сказал я.

— Подберут, — ответил Артемчук. — На съем отводится около четырех часов. Все подберут, до крупинки...

Мы возвращались в поселок. В машине под ногами

лежал такой же коврик, как на колоде. Я вспомнил знаменитое пророчество насчет отхожего места из золота и представил, что время сбыться ему пришло, и стали решать — где, и сошлись на том, что в Билибине. Там, мол, наиболее заслужили... И я вдруг очень ясно осознал, что билибинцы отказались бы. Не из почтения к «ослепляющему» металлу, но из уважения к своему труду. Отказались бы и в Усть-Омчуге, и в Сусумане, и в Ягодном, и на Комсомольском, и везде, где в дни промывки, рядом с портретами передовиков, то не горят, то зажигаются красные звезды...

## 8

Пора было расставаться с Билибином. За десять дней многого, конечно, я не увидел, со многими не познакомился, не поговорил, но ведь всего окончательно и за год, и за несколько лет, и проживи здесь всю жизнь не увидишь, потому что постоянно будет появляться что-нибудь новое. Начал, например, строиться в Билибине новый квартал, по сути, целый поселок, так его и называют: поселок БАЭС. Будет там и Дворец культуры, и вместительная школа-интернат с бассейном, и спортивный комплекс. Запроектированы парники, которые будут обогреваться теплом «атомки», и птицеферма, и коровник. Появится у билибинцев свое подсобное хозяйство — понадобятся им и овощехранилище и мясомолочный комбинат. Решится наконец жилищная проблема, которая в поселке, как, впрочем, и по всему Северу, остается одной из самых насущных. Сейчас в Билибине можно наблюдать такие сцены. Собрался человек в отпуск, уложил чемоданы, сидит в своей комнатке, прощается с друзьями. Уезжает-то ведь надолго... Стук в дверь.



— Здравствуйте, — робко произносит вошедший. — Я Иванов с БСМУ. Вам обо мне говорили?

— Говорили, — отвечает хозяин. — Да ты проходи, садись.

— Ну так как же?

— Как? Вот завтра-послезавтра улечу, приходи и живи.

— Большое вам спасибо! — горячо и с облегчением благодарит Иванов. — А я, знаете, третью неделю как прилетел с женой и ребенком, остановились у знакомых, да так и живем. Они, конечно, не говорят, но и самим неудобно стеснять!

— Ничего, я тоже так жил, — замечает хозяин. — Только вот что...

— Что? — с возродившимся беспокойством спрашивает Иванов.

— Я вон там у двери пол хочу перед отъездом покрасить, так вы первое время поосторожнее ходите.

— Какой разговор! Конечно! — восклицает новосел. И тут ему приходит в голову идея. — Слушай, не воззись с полом. Езжай себе спокойно, я все сделаю! В лучшем виде. Я же строитель! — И тут ему приходит в голову еще одна идея. — А как будешь возвращаться, недели за две дай телеграмму, я тебе снова все тут покрашу!..

Нехватка жилья объясняется не только тем, что строительство идет на Севере трудно и медленно, но и тем также, что, планируя город или поселок, проектные институты и организации не учитывают перспектив его развития. К примеру, Билибино замышлялось вначале как небольшой приисковый поселочек, на две с половиной тысячи жителей. Сейчас в нем почти в пять раз больше. К горнякам прибавились энергетики, возросла армия строителей... Раньше это было вполне по-

нятно, вполне объяснимо: торопились закрепиться, некогда, да и в диковинку было думать об удобствах, но прежде о деле, даже бравировали этим — четыре стены, крыша, печка железная и минута ходьбы до буровой, до карьера, до причала... Так и Магадан встал у Нагаевской бухты, а теперь выяснилось, что отодвинуться ему бы всего на несколько километров подальше от моря, и вместо туманов постоянных было бы в нем солнце. И в Билибине поговаривают, что место неудачное — надо было в Кэпервееме строиться: там просторнее, там микроклимат лучше...

Заходишь в квартиру северянина в новом блочном или крупнопанельном доме и, не подумав, хвалишь: «Совсем как на материке!» А северянину, оказывается, надо лучше, чем на материке. В крохотной его передней зимой такое обилие шуб, унтов, валенок, меховых брюк, что еле протиснешься. Вдобавок к водяному отоплению на кухне у него плита — значит, нужно где-то хранить дрова и уголь. Продукты он привык закупать оптом — в другой раз можно и не достать или погода такая, что идти не захочешь, — их тоже нужно где-то держать. Так появляется напротив современного дома шеренга дощатых сараев... Если в тихую погоду форточку в квартире открыть, то в пургу можно и не закрыть — лучше уж заклеить окна, замазать с осени наглухо. Нужно проветрить — открываешь дверь на лестницу. Открыл и сосед — растекаются по подъезду, перемешиваются запахи кухонь...

А на зачопченной, давно не беленной стене поселковой котельной — большой выцветший транспарант «СЕВЕР — КРАЙ СИЛЬНЫХ!». Подразумевается, что слабые здесь не задерживаются. Но кто решит, силен человек или слаб, если он на пятидесятиградусном морозе голыми руками в моторе может ковыряться или

в тундре пурговать несколько дней, а вот не нашла же-на работу по специальности или ребенок заболел, и пришлось уехать... Надо сказать, что настоящие северяне относятся к подобным лозунгам весьма иронически. Север, вопреки распространенному мнению, не ГЭП, не промприбор, который наиболее ценную человеческую породу оставляет, а прочую смывает, а если и ГЭП, то установленный внутри каждого отдельного человека, и внутри каждого происходит этот процесс: что-то человек в себе вырабатывает, от чего-то избавляется... О проблемах заселения человеком Севера и адаптации к нему в последнее время много говорят. Причем говорят очень серьезно — на основе многолетних наблюдений, детальных социологических исследований. Все это — добрый знак, это свидетельствует о том, что в освоении Севера должна возобладать новая стратегия: не десантами, не рейдами, а продуманным наступлением по всему фронту, с учетом добытых в этих рейдах важных сведений: о ресурсах края, о потребностях его жителей, о психологии северянина, о демографических особенностях и т. д.

Да, и все-таки пора расстаться с Билибином. Очень распространены на Севере две разновидности отъезда: человек собрался, торжественно распростился со всеми и... застрял из-за погоды недели на две. Положение его странно: он уже не у дел, вне жизни поселка, и все еще в нем. Он старается не попадаться на глаза друзьям, потому что их сочувственные лица еще более травмируют его. У него одно занятие: караулить самолет, вельбот, вездеход, трактор — любой транспорт, на котором можно уехать... Или: только что сели за прощальный стол, только подняли, промолвили традиционное: «Ну, чтоб в море...», как влетает кто-то с воплем «Самолет!», и больше никто ничего не успевает ска-

зать, отъезжающий бежит, вприпрыжку садится, спохватывается, порывается назад, поздно — дверца захлопнута, «от винтов!». С дороги он присылает какую-нибудь сумбурную телеграмму... И все-таки на Чукотке говорят: лучше уехать, не простившись, чем, простившись, не уехать.

Мне повезло: я и простился и уехал. Накануне моего отъезда проводился в Билибине День здоровья, с большой спортивной программой. На стадионе я всех и увидел. Футбольные команды поселка разыгрывали кубок здоровья. Условия игры были такие: два тайма по пятнадцать минут. В случае ничьей — по пять одиннадцатиметровых в каждые ворота. В финал вышли «Строитель» и «Горняк». Болеющая публика вела себя так же, как и везде, но реплики были попроще, «подомашнее»:

— Коля, отдай, ну отдай же Вите!

— Ну смотри, на работу теперь не приходи!

— А ты что, за «Строителей»?

— Не, принципиально, у меня крыша течет.

Я сидел рядом с Дедом Глазыриным. Григорий Сергеевич неистово болел за «Горняка», но болел своеобразно: ругал на чем свет стоит. «Куда, куда ты бьешь, тоже мне — Банишевский!» По другую сторону от меня помещался здоровенный парень. На могучей, бревноподобной его руке была татуировка: холмик с покосившимся крестом, а ниже душераздирающая надпись — «Я буду спать». Но, судя по его виду, «спать» он собирался нескоро. Какой команде он сочувствовал, установить было невозможно, потому что при каждом прорыве, в любую сторону, он кричал: «Дави!»

— А вы что не играете? — повернулся он ко мне. — В прошлом году ваши здорово сыграли!

По моей штормовке он определил во мне студента.

— Понравилось в Билибине?  
 — Ничего, — сказал я.  
 — Ну вот, отучишься, приезжай совсем. Хочешь, устрою вызов. Меня здесь всегда найдешь. Спросишь...  
 — ...Ивана с Сусумана, — весело подсказали сзади.  
 Парень обернулся, чтобы ответить подостойнее, но тут «Строитель», за минуту до конца, забил решающий, победный гол, и он отвлекся, чтобы выразить свой восторг...

День здоровья совпал с Днем рыбака, на Севере очень популярным, поэтому в общем праздновании поначалу выделялись два господствующих стиля. «Рыбаки» устраивались под деревьями, на травке, в стороне от футбольных страстей. Затем все, конечно, перемешалось... Кафе «Золотинка» было забито. Гремел электрифицированный оркестр. Его мэтр, окидывая орлиным взором столики, объявлял: «По просьбе наших омолонок гостей прозвучит песня «Колымская трасса!»»

В рейс далекий  
 Машина пошла,  
 Трасса, Колымская трасса,  
 Магадана душа-а...

Или: «Наш гость Александр с прииска «Аньюский» просит исполнить для своего друга Виталия песню о Билибине!»

Городок романтиков,  
 Городок мечтателей.  
 Городок Билибино  
 Светится в ночи...

До свидания, Билибино!

У меня оставалось две недели, и я хотел теперь только одного: попасть на другой конец Чукотки, в Уэлен. Велик был соблазн лететь по Северу: через Певек, мыс Шмидта и сразу в Лаврентия, но я боялся плохой погоды, частых на побережье туманов. И я отправился дальним, кружным, но более надежным путем — опять в Магадан, чтобы потом в Анадырь и т. д.

В Омолоне наш самолет провалился буквальным образом. Он уже выруливал после стоянки на взлетную полосу, как вдруг мы услышали перемену в гудении моторов — начало оно снова слабеть, и винты, покрутившись, повицали. «Не везет вам, товарищи пассажиры, — сказала улыбающаяся стюардесса. — Просьба всем выйти». Мы вышли и увидели, что колесо самолета почти целиком ушло в землю — видимо, вытаяла в этом месте мерзлотная линза. «Ничего, толкнем», — сказали ко всему привыкшие пассажиры. Откопали колесо. Привезли и подсунули под него стальной лист. Пришел бульдозер, зацепил шасси тросом. Поколебавшись, командир разрешил мужчинам встать под крыло. «Однако чуть что — разбегайтесь!» Бульдозер тащил. Мы упирались в крыло, как Атланты. Колесо медленно выкатилось из ямы.

Женщины тем временем собрали большие букеты кипрея, в изобилии росшего по краям поля. Снова уселись, полетели. В полумраке салона цветы, казалось, излучали какое-то слабое малиновое свечение.

— Третий раз лечу этим самолетом, — сказал сидящий рядом со мною паренек.

— Почему ты думаешь, что именно этим?

— А вот...

Рядом с иллюминатором было нацарапано: «Лиза Е.».

— Я ее хорошо знаю. Это она в Хабаровск летала, поступать.

Сам он только что закончил школу и тоже летел сдавать экзамены — в Петропавловск, в мореходку.

Как старый, растрепавшийся чаат, расплелась внизу на множество рукавов река. Зеленые склоны сопок, по которым вскарабкивалась и скользила вниз тень нашего самолета, поблескивали на солнце — это значило, что между кочками сочилась вода. Почему-то я вспомнил своего красноярского собеседника, строгого Карла Яновича, воскликнувшего почти с негодованием: «Ехать, чтобы писать?!» — и подумал, что был он, наверное, неправ. Давно мечтал я о таких неспешных записках, не связанных ни сюжетом, ни тщательно выверенной композицией, объединенных единственным, чем только и могут быть объединены записки о путешествии, — дорогой... И еще: надо нам было тогда сразу договориться об информации, о смысле, который каждый из нас вкладывал в это слово. Для меня, например, когда я жил в Улене, бездна информации заключалась в том, как движутся льды в Беринговом проливе, какая расцветка у гаги-гребенушки или что приносят разные ветры. О снеге можно написать целый рассказ. О пурге, об осеннем шторме. Я уж не говорю о самом Улене... И хотя прошло несколько лет, как я покинул его, все это по-прежнему продолжает меня волновать. Еще меня в дороге всегда интересует информация о себе. Живя подолгу в одном месте, особенно в городе, к себе как-то привыкаешь. Приучаешься к одним и тем же лицам, улицам, кругу, ритму, словам. До автоматизма доводятся действия. И вот тем-то и ценно путешествие, что, помимо мира, открывает нам самих себя: не разучились ли мы еще мерзнуть, мокнуть, претерпевать, ходить, ждать, говорить, удивляться...

Анадырь, вернее, аэропорт его славится среди северян тем, что в нем — сидят. Сидят, когда едут в отпуск или командировку. Сидят, когда возвращаются обратно. В Анадырь, как в Рим, ведут дороги чуть ли не со всей Чукотки. Отсюда большие самолеты летят в Магадан, Хабаровск и в Москву. Несколько лет назад, когда в аэропорту не было еще гостиницы, зал ожидания в месяцы «пик» являл непривычному взору ошеломляющее зрелище. Люди располагались на ящиках и даже на газетах. В креслах заслуженно спали «старожилы». Мне, например, довелось однажды ночевать на багажных весах. Но постепенно в этом хаосе людей и вещей можно было различить какой-то порядок, незримые территориальные границы. В одном углу собрались беринговцы, в другом — эвбекинотцы. Отдельная компания у марковцев. В каждом стане свои развлечения, свои остряки, свои, понятные только посвященным, веселые воспоминания. Одновременно звучат несколько транзисторных магнитофончиков:

Остался у меня  
На память от тебя  
Портрет твой, портрет  
Работы Пабло Пикассо...

Так проходят дни. Выпивается последняя бутылка выдохшегося «жигулевского», которое и на этот раз не довезли. Вдруг — долгожданное объявление по радио, и тут же с кличем «За мной, беринговцы!» пустеет угол, чтобы через мгновение заполниться провиденцами. И когда наконец объявляют и твой рейс, то, честное слово, к радости примешивается некоторое сожаление — обжился уже, привык, появились друзья... Очень

часто на Чукотке на вопрос: «Такого-то знаешь?» — лицо человека расплывается в почти счастливой улыбке, и он восклицает: «Как же! Да я с ним в Провидения месяц сидел!»

Сейчас напротив аэропорта стояло длинное здание с вывеской «РАМКО'ЛЫРАН» — гостиница, и в зале ожидания, я бы сказал, было довольно просторно, несмотря на нелетную погоду. Да и пора была такая: основной вал отпускников уже прокатился, а время возвращаться ему еще не пришло. Над аэродромом светило солнышко и синело небо, но радио через каждые два часа оповещало: «Пассажиры, ожидающие вылета до Лаврентия, Отрожного, мыса Шмидта, Иультина (шел длинный перечень), ваш вылет откладывается до... часов местного времени». Закрыты были все четыре, а если пользоваться определениями чукчей, то все двадцать четыре стороны света. Закрыты были и «утренний расцвет», и «минувший полдень», и «низкое солнце», и «узкие сумерки», и «погасшие сумерки». Я поехал в город.

Анадырь, в отличие от Билибина, расположен не в котловине, а на склоне сопки, и светлые его корпуса видны издалека. Добираться до него из аэропорта сложно: километров двадцать на автобусе и полчаса на катере через залив. Зимой вертолет летает — в хорошую, конечно, погоду. Так что, бывает, и сами анадырцы обживают аэропорт...

Недавно город отпраздновал свое восьмидесятилетие. Летом 1889 года пришел сюда из Хабаровска военный клиппер «Разбойник» и на берег высадился высокий худой человек — начальник только что образованной Анадырской округи Леонид Францевич Гриневецкий. Через несколько дней появился на пустынной косе домик из досок и плавника. Так был основан Ново-Мариинский пост, нынешний Анадырь. Все три года своего

правления Гриневецкий посвятил изучению края. У него уже был опыт исследования Новой Земли, и его не пугали ни дальние путешествия, ни холод, ни одиночество. Все интересовало его: климат, растительность, минералы, животный мир, но главное — местное население, его обычаи, условия жизни. В селе Марково Гриневецкий познакомился с чуванцем Афанасием Дьячковым, талантливым самоучкой-краеведом, и привлек его к своей работе. Книга Дьячкова «Анадырский край» и до сих пор не потеряла своего значения для историков дальневосточного Севера. Умер Гриневецкий в 1891 году от чахотки, далеко от дома, на реке Майн. Там же и похоронен. Меньше всего он был чиновником, и на кресте, воздвигнутом спустя несколько лет на его могиле, написано: «Потрудившемуся на пользу науки». Но и это не совсем точно. Гриневецкий был еще и самоотверженным врачом, и просветителем по натуре, и, наконец, основателем Анадыря, так что, мне кажется, настоящий памятник ему должен стоять в этом городе...

Когда переправлялись мы через залив, на палубе рядом со мной оказался человек, бывший в Анадыре последний раз лет двадцать назад. Он удивлялся, как вырос город.

— Тогда он весь умещался вон там внизу, на берегу Казачки, а сейчас смотрите куда забрался!

— Чему же удивляться? — сказал я. — Вот если бы он по-прежнему умещался на берегу Казачки, тогда и надо было бы удивляться.

— А вы правы, пожалуй! — засмеялся он.

По этой причине я не стану подробно рассказывать о городе, о привычном силуэте «Орбиты» над ним, ни о роскошном Дворце культуры, ни о строящейся ТЭЦ, которая войдет в единую энергосистему с «атомкой», ни об экспериментальном жилом доме, закрытом таки-

ми же, как на БАЭС, алюминиевыми панелями. Но мне хочется упомянуть об одном ощущении, которое начинаешь испытывать всякий раз, попадая именно в эту часть Чукотки — от Анадыря и дальше на Север. Скажу, что это — ощущение соприкосновения с ее историей, значило бы сказать слишком общие слова. Ибо с историей мы соприкасаемся везде: в Москве, Киеве, Таллине, Львове, Новгороде, на Куликовом поле... Но в каждом таком месте, при всей его древности, звучит свой исторический лейтмотив или, по крайней мере, несколько сменяющих друг друга мотивов, и мы их слышим в определенной, хотя и необязательно хронологической последовательности. Здесь же, в этом углу Чукотки, почему-то чувствуешь, что соприкасаешься не постепенно, не с отдельными событиями, веком или даже эпохой, а со всей ее историей сразу: от тех десятков тысяч лет назад, когда не было еще пролива между материками и тонкий человеческий ручеек просачивался из Азии через Канадский ледниковый щит в Америку, и до последнего дня, скажем, до строительства Дворца пионеров в Анадыре... Я не случайно вспомнил о Гриневецком: он вполне мог проплыть сейчас пустынными водами залива. А в устье реки Анадырь — зазимовать с товарищами Семен Дежнев, только что отыскавший Восточный проход, прошедший мимо своего мыса, мимо своего памятника. Правда, на берегу залива они увидели бы многоэтажный город и другой памятник — первому Ревкому Чукотки... В Узлене, отойдя немного от поселка, можно слегка копнуть и обнаружить обожженную землю, следы очагов, на которых готовили пищу в I тысячелетии до н. э. Узлен старше Самарканда, отметившего недавно свое 2500-летие. Он дал название открытой здесь археологами древнейшей эскимосской культуре. Мимо него проходили

корабли Витуса Беринга, Норденшельда, Амундсена. В его ярангах жили спасенные челюскинцы. Здесь приземлялись знаменитые летчики Ляпидевский, Красинский, Леваневский, Молоков. Берега, заливы, проливы, сопки Чукотки — это настоящие музейные экспонаты, с той только разницей, что их не надо рассматривать из-за барьера с табличкой «Руками не трогать». По ним можно ходить, плыть, на них можно жить. Об их охране заботится сама природа. Такова эта земля: она не только тщательно сохраняет древние свои очертания, но и любой — и давний, и недавний — оставленный человеком след. Видимо, отсюда и впечатление мгновенной обозримости ее долгой истории...

В Анадыре я зашел к секретарю Чукотского окружкома комсомола Юрию Тототто, и мы побродили с ним по городу. Юрий родился на побережье, в Чегитуне, а учился в Узлене. Отслужил в армии тоже на Севере. Сейчас ему около тридцати, и он заканчивает Магаданский пединститут. «Работаешь-то с людьми — нужна и педагогика, и психология...» Сходили мы на строительную площадку Дворца пионеров, того самого, для которого собирала средства вся пионерская организация страны. Уже закончен нулевой цикл, бурильщики подготовили свайное поле. Вся площадка была усеяна торчачами из земли восьмигранными железобетонными сваями. Забивать их приходилось в скальную породу, что очень трудно, зато уж Дворец будет стоять надежно. Строители готовы были возводить каркас здания, дело было за металлоконструкциями, которые должны завезти в эту навигацию. (Уже уехав, я из газеты «Советская Чукотка» узнал, что они завезены.) Металлоконструкции изготавливали в Новосибирске. Керамзитобетонные блоки для стен придут из Братска. Трудиться над художественным оформлением Дворца

приедут рижане... Чтобы представить, как он будет выглядеть, мы отправились в музей, на улицу Отке, названную в честь умершего в пятьдесят пятом году председателя Чукотского окрисполкома. Его дочь, Наталья Павловна Отке, историк по образованию и директор музея, показала нам небольшую белоснежный макет. Крыша макета снималась, и мы, наклонившись над ним, как Гулливеры, рассмотрели его холлы и широкие лестницы, кабинеты для кружков и зимний сад, спортивные залы и бассейн. Тут же был и интернат — для тех ребят, которые приедут из далеких поселков... «Это будет самое красивое здание в Магаданской области!» — воскликнула Наталья Павловна.

В музее увидел я множество узленских знакомых. Смотрели на меня со стен Утоюк (я о нем уже говорил), и великий старик Нутетегин, танцы которого я так любил, и знаменитые косторезы Хухутан и Вуквутагин. Прошло уже года два-три, как их не стало, но они и при жизни были историей... Вот живой и здравствующий Вася Канхатегин, один из лучших охотников Узлена, мечет гарпун в кита, и Канхатегин с гарпуном — это тоже своего рода история, потому что чукчи на китов уже не охотятся. Теперь все прибрежные поселки обеспечивает китами один всего китобоец из флотилии «Владивосток»... А вот моя бывшая ученица Нина Кымытгивев — гравироват моржовый клык... Нет, в Узлен, в Узлен!

По дороге на пристань мне попался на глаза стенд «Погода», и я узнал, что ветры на северном побережье Чукотки в течение декады преобладали южные, слабые до умеренных, а в отдельные дни сильные до штормовых. Температура была днем 14—16, а ночью 6—8 тепла. И целых двадцать семь дней наблюдались туманы. Вот это было плохо. Но я надеялся, что мне повезет.

Если туманы были почти месяц, то пора им и расходиться... Тут же сообщались условия выпаса оленей: «Пастбищная растительность на территории округа находится в хорошем состоянии. Почти повсеместно продолжается фаза цветения, местами наблюдается созревание семян у кустарниковых и осоковых. Средняя высота травостоя, — читал я, — на конец декады составила 10—30 сантиметров на пастбищах северных и северо-восточных и 30—90 — в континентальной части округа. Выпас оленей затруднялся повсеместным массовым летом кровососущих насекомых...» Графа «Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях» была пуста... На пирсе толпилась шумная компания со стаканами в руках — обычная вещь, кого-то провожали. На палубе катера была свалена груда тюков и чемоданов — слишком много для отпускников. Уезжали все. Определить кто — было пока трудно: все чокались, все смеялись. Но вот расцеловались, взошли на катер муж с женой, уже пожилые, и двое ребят-подростков. Катер стал отходить, и тут в машущей толпе женский голос полувесело-полупечально воскликнул:

— И зачем ты, Боря, нас оставляешь?!

Боря сорвал с лысой головы шляпу, взмахнул ею, хотел, видно, крикнуть что-то бодрое и — припал к жене и заплакал... Но дорога есть дорога, особенно на Севере, ей не до переживаний, и в аэропорту я видел, как с озабоченным лицом, взмокший в теплом пальто, он тащил на хабаровский рейс свои чемоданы...

«Выпихнули» наконец и лаврентьевцев. Как всегда, я устроился на излюбленном месте, в хвосте, увидел рядом с иллюминатором автограф Лизы Е. и тихонько поприветствовал самолет как старого знакомого.



...На Севере действительно были другие сияния, обычно в виде широких свивающихся лент, какие — с назидательным латинским изречением — помещали на старинных гравюрах. Не знаю, чем объяснить, но в Уэлене они никогда не бывали многоцветными, но всегда одного, бледно-зеленого оттенка. Иногда из такой ленты, перпендикулярно ей, выбивались тонкие отдельные струи — как из продырявленного шланга. Но что поражало — это внезапные и быстрые перемещения света. На Ангаре кто-то ровно, не переставая, дул на тлеющий уголь, и этот уголь медленно разгорался. Здесь свет бродил-бродил в одной стороне неба и вдруг кидался в противоположную... И очень становилось понятно старое поверье чукчей, что в северных сияниях обитают души людей, умерших внезапной, насильственной смертью. Не было им, наверное, покоя...

В Уэлене я первое время вел дневник. Недавно я его просмотрел. Это оказался очень лаконичный, очень своеобразный дневник — в день не более нескольких строчек.

«15 сентября. Сейчас ходил на море. Ветер с севера. Трубка сама раскуривается на ветру».

«22 сентября. Киты по вечерам собираются в море против маяка. Как бабочки — на свет».

«8 октября. Снег лег на сопку, и по белому склону поднимаются четыре темные фигурки. Полярники пошли за зайцами».

«11 октября. На моем столе лапа полярной совы: комок белого пуха со спрятанными в нем стальными крючками».

17 октября. Лагуна замерзла. Грязный и старый лед возле берега, и голубой, чистый — посередине».

9 ноября. Море закрылось. Утром оно еще было, и стадо гренландских китов на горизонте, различались только фонтаны».

«14 ноября. Половина третьего. Слегка пуржит. На юге, посреди серого неба, одинокое красное облако».

«28 ноября. Был самолет. Все бежали: люди, собаки. Типичная картина: на Север пришла почта. Но она не пришла».

«13 декабря» — воспроизведена линия сопки на юге.

«16 декабря. Ночью светло и тихо, и собаки спят, свернувшись на кучах золы, выброшенной из печек».

«1 января. Не забыть, как в десять утра над маяком в море прошла стая уток».

Не забыть — вот в чем было дело, вот почему я все это записывал! Нигде, как здесь, не казались исполненными смысла каждая мелочь, каждое мгновение. Нигде не было такого ощущения сопричастности всему, что происходило в этом разомкнутом во все стороны пространстве... Потом я перестал записывать — понял, что и так не забуду...

Коса, на которой стоит Уэлен, сверху очень напоминает выступившую из воды узкую и округлую спину кита, того самого, сказочного, который никак не может погрузиться. А тут еще стада разгуливающих вокруг, ныряющих, выпрыгивающих, свободных от заклятия китов, и воспоминание об американских китобоях, что некогда здесь разбойничали, и так соблазнительно было думать, что название «Уэлен» произошло от английского whale — кит. (Помните «Этимологию», самую первую страницу «Моби Дика»? «Если ты берешься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба-кит именуется словом whale, опуская при этом, по собственной необразованности, букву h, которая одна выражает почти все значение этого слова, ты на-

саждаешь не знания, но заблуждения»). Была и другая, романтическая версия: у одного капитана умерла здесь дочь, Эллен, отсюда и название места «У Эллен», так и на старых картах писалось «Уэллен». Однако название это чукотское, настоящее его начертание, как установил В. Леонтьев, писатель и уэленский старожил, — Увэлен, что означает буквально «Черная земля». Действительно, в апреле, когда все еще в снегу, но солнце светит так ярко, что невозможно ходить без темных очков, на склоне сопки оттаивают два бугра — два черных пятна, далеко видимые путнику, едущему по тундре... А на языке соседей, науканских эскимосов, поселок назывался Олык, то есть Нож, и это тоже, мне кажется, понятно почему: если косу вообразить рукояткой, то примыкающая лагуна станет широким полукруглым лезвием — такими ножами женщины Севера до сих пор скребут шкуры... И если уж говорить о косе, еще она похожа на моржовый бивень, что давно и отлично известно уэленским гравировщикам по кости. Один из традиционных сюжетов — вписавшееся в клык старое стойбище. На другой стороне — теперешний поселок. Неизменная форма клыка обладает всеми достоинствами и недостатками классицистических канонов: и ограничивает, и заставляет оттачивать мастерство... Хранится и у меня такой клык с надписью «Уэлен, 1967 год», и я могу отыскать на нем свой дом. Я знаю, он и теперь там стоит, окнами на лагуну...

«16 февраля. Пургой выбило окно в чулане, и весь его занесло снегом».

«10 апреля. Ездил за льдом на речку».

«30 мая. Тепло. Топить можно меньше».

Заботы о доме были постоянными: тепло, вода и — во время пург, когда рвутся провода, — свет. В доме — летом в коридоре, зимой в кухне — стояла бочка.

По воскресеньям я брал у своего соседа Эйнеса грузовую нарту, вооружался топором, пилой и лопатой и шел к сопке. Нарту я оставлял внизу, а сам взбирался на обрыв. Там нависали наметенные южными ветрами снеговые карнизы. Снег приносился из тундры влажный и плотный, потом схватывался морозом. Пила была двуручная, но один конец вместе с петлей был специально обломан и заострен — чтобы выпилить куб побольше. Когда со всех сторон надрезы были сделаны и подкопано снизу, оставалось забраться наверх и стукнуть топором. Глыба отваливалась и медленно, переваливаясь, катилась вниз. Иногда и не сразу отваливалась, тогда приходилось поплясать на ней... Возле дома ее надо было еще разрубить, чтобы куски вошли в бочку. Стенки бочки сразу запотевали, от нее начинало тянуть холодом, а изнутри долго слышались шуршание и тихие всплески — таял и оседал снег. Потом вместе с водой зачерпывались листики, разные травинки... Хорошо было также долбить смоченный с осени дождями и замерзший до твердости камня уголь и складывать его сизые от инея куски в чулане. Но самое лучшее — это чувство глубокого удовлетворения, охватывавшее вас, когда вся эта работа была сделана. Бочка полна, угля вдоволь, гряда лучины для растопки сохнет за печкой... Теперь можно отправиться, например, в гости к друзьям, только они уже и сами идут, не сговариваясь, один за другим...

Когда я уехал из Уэлена, он начал сниться мне беспрестанно: зимний, летний, осенний, пуржливый, дождливый, солнечный — всякий. Иногда он и непохож бывал на себя — какие-то незнакомые высокие каменные строения, как в городах, и я блуждал между ними, хотя продолжал твердо знать, как это часто случается во сне, что это Уэлен, но три, по крайней мере, ощуще-

ния присутствовали в этих снах всегда. Ощущения моря, косы и друзей — даже если я их и не видел... Однажды приснился мне шторм, но странный: волны стремились одновременно с моря и из лагуны к центру косы, чуть-чуть не смыкаясь, оставляя узкую полоску, и я в темноте пробирался между ними, различая по сторонам, у ног белую вскипающую пену. И я знал, что все собралось возле маяка, на сопке... Но чаще всего снился сон один и тот же: я вновь прилетаю в Уэлен, но у меня очень мало, совсем почти нет времени, и я бегу по улице, вижу знакомых, не останавливаюсь, машу им, стремлюсь дальше, потому что у меня цель — пробежать поселок и увидеть всех. То ли я в тяжелых унтах бегу, то ли это обычный для сна мучительный бег на месте, но сны такие всегда бывали как-то бестолковы и обрывались нелепо где-то посередине...

И вот теперь, очень скоро, я мог пройти по уэленской улице не торопясь, белой ночью, когда солнце стоит над горизонтом, прямо напротив поселка, и все гуляют, а старики сидят на берегу и смотрят на море...

12

Самолет наш, снижаясь, долго пробивал облачность и вышел низко над заливом. На другой его стороне я успел увидеть маленький поселочек Пинакуль — там у нас был когда-то пионерлагерь. Через минуту мы сели в Лаврентия, центре Чукотского района. Несколько необычной грамматической формой своего названия этот поселок — так же, как и Провидения — обязан заливу, на берегу которого он стоит. 15 августа 1791 года на корабле «Слава России» пришел сюда из Охотска капитан-поручик Иосиф Биллингс, он и окрестил залив

в честь святого Лаврентия. В 1928 году образовалась здесь культбаза, а затем поселок с тем же названием, правда, уже без титула «святой». Материковские друзья и родственники лаврентьевцев недоумевают и на конвертах как только не пишут: и Лаврентий, и Лаврентие...

В этом уголке Чукотки не нашли пока полезных ископаемых, нет здесь бурно развивающейся промышленности, основные и исконные занятия его жителей — оленеводство и морзверобойный промысел. Причем по количеству оленей район далеко не самый богатый — Анадырский, Иультинский, Чаунский, Билибинский богаче. Но они и крупнее... Если подсчитывать плотность населения в районе, целых чисел не получишь — 0,2 человека на квадратный километр.

Перемены, которые здесь произошли и происходят, не столь мгновенны и впечатляющи, как, например, в Билибине, и, когда они происходят, люди не замечают, что это перемены. Особенно те из них, кто не так давно на Севере. И это в общем-то закономерно. Один из первых приехавших на Чукотку учителей и жителей Лаврентия, впоследствии писатель Тихон Семушкин, рассказывал в своей книге о нескольких домиках возле залива, о том, как приходилось ездить по стойбищам, уговаривать родителей отпустить ребят в школу, приглашать заодно отцов, чтобы они видели, чем занимаются их дети... Теперь же Анадырское педучилище в течение более тридцати лет готовит своих учителей, чукчей и эскимосов. А в памятке «Новоселу Чукотского района» написано: «Тебе уже не придется, наверное, наездить десяток-другой тысяч километров на собаках, не доведется, вероятно, пурговать неделями в снегу. Не придется тебе и жить в общей со многими семьями квартире... Но не печалься. На твою долю осталось еще

немало трудностей... Старожилы Севера приветствуют тебя! Прими от них добрые советы...»

Один из авторов этих строк, Валентин Алфеевич Ивакин, как раз относится к тем людям, которые могут дать эти добрые советы. И для него, конечно, заметнее перемены. В 1948 году, двадцати трех лет, приехал он на Чукотку. Был комсомольским, партийным работником. Руководил уэленским колхозом «Герой Труда». До недавнего времени Валентин Алфеевич работал первым секретарем Чукотского райкома партии. В упоминании о десятке-другом тысяч километров — много личного. На собаках, на байдарах, обтянутых моржовой шкурой... Другого транспорта в то время на побережье не было. Образованные колхозы. в конце сороковых — начале пятидесятых годов, по сути, оставались теми же стойбищами с патриархальными отношениями, прежним укладом, бытом, старыми орудиями промысла. Надо было объединять мелкие хозяйства, обеспечивать их надежной техникой, ликвидировать неграмотность, перестраивать образ жизни, бороться с болезнями, переселять чукчей из яранг в дома. И не было четкого разграничения обязанностей: учителям — учить, врачам — лечить и т. д. Каждому приходилось делать все! Но это не значит вовсе, что были эти люди замученными, задерганными, ничего не видящими, кроме работы. Ивакин рассказывал об инчоунской учительнице Нине Горшковой, которая залихватски играла на гармошке и научила чукчей отплясывать «Барыню». И до сих пор в Инчоуне складывают частушки — на чукотском языке, но на смоленский мотив... А сам он, когда мы собирались у него в долгие уэленские вечера, любил достать свои старые записные книжки и прочесть оттуда с веселой усмешкой что-нибудь вроде: «Рентыгрин пришел на полярку к радисту и долго расспрашивал, как теле-

грамма переходит из одного места в другое. Узнав, что по воздуху, он вышел на улицу, покачал головой, вернулся и заявил: «Не полетит твоя телеграмма. Ветер в другую сторону...» Однажды Ивакин сказал: «Я с Вологодщины, у нас там — леса... Здесь уже около двадцати лет. На эти сопки, веришь ли, — иногда кажется, и не глядел бы, так примелькались. Но я совершенно точно знаю: уеду — начну тосковать...» Я вспомнил эти грустные слова сейчас, когда прилетел в Лаврентия и застал Валентина Алфеевича собирающим вещи. Его переводили на работу в Магадан, заместителем начальника управления сельского хозяйства области.

...А Уэлен мой был закрыт. Да и в райцентре погода была невеселая: туман, дождь. «Окошко», в которое успел проскочить наш самолет, тут же и затянулось. И только что ушли из Лаврентия уэленские вельботы, с которыми можно было бы добраться... В гостинице я встретил знакомого уэленца, Анатолия Тымневаката. Он ехал в отпуск, к брату. Его брат, Тымнетагин, был одним из первых чукотских летчиков, а сейчас вышел на пенсию и жил под Москвой. Сам Тымневакат — строитель, многие уэленские дома сложены его руками. Мы сидели у меня в комнате, и он рассказывал мне про поселок.

— Новая школа при тебе уже была?

— Была. Я в ней работал.

— Так. Значит, напротив школы, на берегу моря сейчас стоят четыре двухэтажных дома. Еще один — к лагуне. Где сгоревший клуб был, помнишь?

— Я его тушил.

— На этом месте строят новую косторезку... Дальше по косе будут еще три двенадцатиквартирных, а возле совхозного гаража — Дом культуры...

— Ты лучше начерти, — просил я.

Анатолий проводил посреди листа бумаги широкую полосу, по краям надписывал: «море», «лагуна».

— А здесь сопка, так?

И мы склонялись над уэленской косой...

Со мной в комнате жил «москвич». По крайней мере, он сам мне так (с большим достоинством) представился: «Такой-то. Из Москвы». Он ездил по Чукотке, кажется, с лекциями от общества «Знание» и тоже непременно хотел в Уэлен. Определив во мне, по нашим с Тымневакатом разговорам, человека сведущего, «москвич» заводил со мной осторожные беседы насчет клыков и шкур. Не в упор, конечно, выведывал, как бы и где бы достать, абстрактно вроде бы интересовался.

— А нерпы эти, они что?— спрашивал он.

— Что «что»?

— Ну... где?

— Да в озерах в основном,— отвечал я.— В тундре, в озерах. Днем — в воде, ночью на берег выходят пастись. Тут их и ловят...

— Интересно... А мне говорили, они — в море...

— В море — да. Но в море хуже. У озерных шкура лучше. Не разъедается соленой водой.

— А как отличить озерную от морской?— настораживался он.

— Озерная — светлая и пушистая. Морская — желтая и облезлая.

— Да... И все-таки непонятно, как они попали в озеро?

Мне надоедал этот обоюдный вздор, и я отвечал какою-нибудь уж совершенную нелепость:

— Утки заносят на лапах икринки. Из икринок и выводятся.

В глазах его вспыхивал огонек недоверия — не оттого, что он понимал, что это неправда, а так, на всякий

случай, по привычке всему неизвестному не особенно доверять. «Ничего, все это можно еще уточнить», — читал я на его лице. И как ясно было мне назначение его громадного пустого чемодана...

Однако так прошел и день, и два, и три. И никто не мог обещать мне, что не проведу я в лаврентьевской гостинице оставшиеся у меня полторы недели. В пятидесяти же километрах к юго-западу от Лаврентия было село Лорино — хорошо известный не только в районе и округе, но и в области колхоз имени Ленина. Туда можно было добраться на вездеходе. И я поехал.

13

Я не упомянул, что корреспондент давно уже стал привычной деталью чукотского пейзажа. Ивакин, когда еще работал в Уэлене, как-то подсчитал, что за год у него бывало более трехсот разного рода творческих личностей: пишущих, рисующих, фотографирующих, снимающих фильмы. То есть примерно около человека в день. Так что, выйдя на пустынный берег, можно увидеть не неподвижно вззирающего на море старика чукчу, а, к примеру, спецкора журнала «Советская женщина». Поэтому я ничуть не удивился, когда зашел в кабинет к Григорию Семеновичу Гутникову, председателю колхоза имени Ленина, и застал у него сразу человек пять, у которых на груди, под расстегнутыми куртками, наготове так постоянно и висели расчехленные фотоаппараты. Одного из них я узнал, он давно ездил по Северу. Несколько лет назад он просил меня позировать ему на льдине в плавках. И хотя я уверял его, что на Чукотке, по крайней мере в нашем поселке, нет «моржей», что даже летом температура воды в Чукотском море около нуля, он не отставал, ему нужен был такой кадр.

Надо отдать ему должное, уговаривать он умел. «Хорошо,— согласился я наконец,— только пойдем подальше от поселка: мне еще здесь все-таки жить, работать...» Мы ушли под скалы, и я постоял там на льдине, плавающей у берега, пока он щелкал.

— Ну а теперь в море,— сказал он.

— А какая у тебя самая маленькая выдержка?— спросил я.

— Тысячная...

— Вот ее и поставь...

Потом мне попадались некоторые его работы — например, в самый центр напуганного, кружащегося оленьего стада, как в водоворот, опускался вертолет. Возможно, это и эффектно выглядело, но я уже знал, чья это была идея: никакой летчик не позволил бы себе по доброй воле такого, попросту сказать, хулиганства... И вот один изобретет такой кадр, другой напишет, что жители Уэлена принимают душ под фонтанами китов — буквально так и было написано! — и после этого как-то неловко приезжать в эти места и объявлять, что ты корреспондент. Но к'злюк'бъм мин'кыри, как говорят чукчи, — ничего не поделаешь. Север и сам привык к корреспонденту, привык к его постоянной спешке, незнанию элементарных вещей, беспечной готовности к риску, Север, я бы сказал, балует корреспондента и относится к нему со снисходительностью взрослого. Отправляется в дорогу вельбот, вездеход, собачья упряжка. И слышишь: «Корреспондента смотрите не заморозьте!» Или: «Корреспондента не забудьте покормите!»...

Сейчас, по беседе, которая велась в кабинете Гутникова, можно было понять, что в течение нескольких последних дней приходилось ему довольно туго и что все это, слава богу, теперь позади. Уже с облегчением и сме-

хом вспоминались непременно меховые одежды, в кои должен он был облачатся, и чучело поднявшегося на дыбы белого медведя, которое, по общей горячей просьбе, надо было вытащить из музея на улицу — «будто бы он живой», чего Григорий Семенович все-таки не сделал. «Но в следующий раз — так и быть!»...

Корреспонденты откланялись и уехали на том вездеходе, который меня привез. Тогда я тихонько подсел к столу и сказал:

— Я вас, видимо, разочарую, Григорий Семенович, но я в некотором роде тоже...

Гутников крякнул.

— Но мне ничего не надо,— поспешил заверить я.— Мне бы только в тундру...

— Это практически невозможно,— сказал он.— Вертолет, обслуживавший бригады, только что отработал. Все колхозные вездеходы в тундре. Не на чем вас отправить! Единственный шанс: завтра, если будет погода, на ту сторону залива пойдет вельбот с продуктами для оленеводов. На берег придет вездеход. На нем попадете в бригаду. Это — единственный шанс!

— Какой же еще шанс нужен, Григорий Семенович! — воскликнул я...

Ночью я несколько раз выходил на крыльцо лоринской гостиницы и с радостью отмечал, как постепенно уходит туман, все яснее проступают очертания ближних сопков и далекой гряды за ними, а серые воды лагуны начинают отливать зеркальным блеском...

Наутро Гутников сам отвез нас на «газике» к вельботу. Нас — это меня и Володю Соколова, матроса со «Звездного», того самого китобойца из Владивостока, который охотился в здешних водах. Володя был кинолюбитель. Григорий Семенович договорился с капитаном «Звездного», чтобы его отпустили на берег на несколько

дней — снять фильм о колхозе. Нынешним вечером мы с Володей проговорили допоздна, он рассказывал, что «Звездный» приходит сюда уже второй сезон, команда взяла шефство над поселком Янракинот, собрали книги для сельской библиотеки, а ребятишкам на судовые деньги купили магнитофон. Рассказывал, как у одной женщины в Янракиноте случился острый приступ аппендицита, и китобоец вез из Провидения врачей в одиннадцатибалльный шторм. Дошли за три с половиной часа. Врачей за это время повыворачивало наизнанку, но сразу стали делать операцию и женщину спасли... Говорил он и о себе немного: на флоте уже четырнадцать лет, любит читать книги о путешествиях, и больше всего ему нравится «Гренландский дневник» Кента. «Повезло человеку: то, что нельзя высказать словами, он нарисует, что нельзя нарисовать, опишет!»

Команда была уже на берегу. Бригадир Гриша Анканро сидел в вельботе и откачивал ручным насосом воду из-под настила. Он выплескивал ее за борт, красную и густую от крови, — наверное, вчера охотились. Остальные пили чай вокруг маленького костерчика. Потом погрузили бочки с горючим для вездеходов, ящики с галетами, печеньем, маслом, консервами, папиросами. Тронулись. Гутников махал рукой и кричал: «По-ниже садитесь! По-ни-же!»

Я не встречался с ним раньше, но многое о нем слышал. Григорий Семенович — из того же поколения чукотских старожил, что и Ивакин. Фронтовик. На Чукотку приехал вскоре после войны. Был председателем райисполкома. Попросился в колхоз. Сейчас в колхозе — девятнадцать тысяч оленей, звероводство, морской промысел, три миллиона основных фондов и миллионные прибыли. Но самое удивительное — тепличное хозяйство. На полпути между Лаврентия и Лорино, в уют-

ной, закрытой со всех сторон долине бьют горячие ключи. Ныне это место так и обозначается — Горячие Ключи. Здесь в теплицах выращиваются самые северо-восточные в стране помидоры, огурцы, редис, капуста. Куры несутся. Есть у лоринцев и молоко, не порошковое, из банок, а свежее — только что от коров. Во все это вложено более двадцати лет труда. И теперь, сетуй не сетуй, от журналистов никуда не денешься...

Мы шли через лагуну часа три. Справа, за плоской косой, было море. Слева тянулся невысокий берег с пятнами нестаящего снега. Сияло солнце, дул легкий ветерок, поплескивала мелкая волна. Развлечений в такой дороге мало: чайки подрались с морским разбойником, нерпа вынырнула и снова ушла, блеснув на мгновение боком цвета старого серебра...

Вездеход мы увидели издали, он сползал по распадку к берегу. Потом появился второй. Когда мы подошли, чай у вездеходчиков был уже готов... Снова по-чаевали. Вытащили из вельбота ящики и бочки. Погрузили на вездеходы. Ушел вельбот...

— Чайник твой?

— Мой.

— Не забудь.

— Курево есть?

— Возьми пару пачек. А ты патронами не богат?

— «Нолевка»...

— Дай немного... Ну привет!

— Погнали!

И разошлись вездеходы по своим бригадам...

14

Представьте себя внутри закрытой железной коробки, которую то медленно, то быстро тянет кто-то по гигантской стиральной доске. А иногда этот «кто-то» хва-

тает коробку и несколько раз сильно встряхивает, чтобы убедиться, погромыхивают ли еще в ней ваши кости. Так идет вездеход по летней тундре. Взбирается с ревом на перевалы, грохоча катится вниз, скрежещет по камням, устилающим дно ручьев и неглубоких речек. Сзади на зеленых склонах остается след от гусениц: две широкие полосы с проступающей в них темно-коричневой жижей...

И все-таки мне нравилась езда в вездеходе, нравились и этот гул, и тряска. Мы с Володей лежали на мягких кукулях — спальных мешках из оленьих шкур — и смотрели назад, через прямоугольный проем кузова. Горизонт не оставался в покое, поднимался, опускался и вдруг совсем проваливался, и тогда мы видели только небо. Три дня мы уже ездили по тундре, и все три дня стояла жара. На фоне прозрачного воздуха в броуновом движении мельтешили комары и залетали внутрь кузова. Когда вездеходчик Толя Рыбаченко прибавлял скорость, их выдувало сквозняком.

Мы ехали к стаду. Оно паслось сейчас километрах в десяти от передвижного домика, в котором останавливались мы на ночлег. Домик стоял на плоском сухом бугре, посреди небольшой долины. Еще зимой его притащил сюда трактор. Рядом, под обрывом, была речка, а на другом берегу я обнаружил выложенные по кругу камни, ралк'ан'ын — старые следы пастушьих яранг. Валялись тут же обломки нарт, и железные коробочки из-под чая, и выцветшие оленьи рога, и стреляные картонные гильзы. Раньше ярангам чаще приходилось перемещаться вслед за кочующим стадом. Теперь всю летовку они стоят на одном месте, а пастухи на маршрутах живут в таких вот домиках и в палатках...

Светлый прямоугольничек палатки увидели мы с

очередного и последнего перевала. Гор впереди больше не было. Сопки, окаймлявшие долину, расходились вправо и влево, а между ними, за горизонтом, угадывалось море. Туда же, извиваясь, уходила узкая темно-зеленая полоса кустарника, обозначающая русло речки Енкивеем. В переводе это означало примерно — Петляющая. Летний маршрут бригады пролегал вдоль этой речки до моря, а затем вверх по соседней речке обратно к ярангам, стоявшим в глубине тундры.

Через полчаса мы подъехали к палатке. Днем, как обычно, здесь были молодые пастухи, Борис Тынекай и Никита Ваальтагин, да несколько школьников. Летом чукотские ребята трудятся — кто на зверофермах, кто в морзверобойных бригадах, а кто помогает пасти оленей. «А как же! Очень хорошо помогают, — сказал мне в прошлый раз бригадир Кавратагин. — Учим их, чтобы могли нас заменить...» Сам Кавратагин с другим опытным пастухом был сейчас в стаде. Он всегда ходил в стадо днем, потому что в жару выпастать труднее, олены беспокойные, тревожат их комары и оводы. Ночью, по прохладе, к стаду шла молодежь.

Мы тоже каждый день приезжали к стаду, вездеход был так и закреплен за этой бригадой на всю летовку. В его кузове имелась большая емкость и различные химикаты: хлорофос, каустическая сода, углекислый аммоний. Ведал этим хозяйством зоотехник Сергей Горбунов — он заканчивал последний курс Магаданского сельхозтехникума и с самого начала отела был в тундре на практике. Пока он смешивал химикаты в ведре, Толя загонял свою машину в речку и наполнял емкость водой. Когда адская смесь в ведре начинала бурлить, ее выливали в ту же емкость. Потом ехали к оленям. Они или кормились еще или уже стояли, сгрудившись, на водопое. Мы устанавливали возле стада длинные шесты



с распылителями и начинали опрыскивание. Однажды, чтобы проверить действие раствора, я смазал себе руки — комаров от них словно отбрасывало. Олени хорошо понимали, зачем их опрыскивают. Некоторое время стадо крутилось, но постепенно замирало, только рога потряхивались. «Сначала боялись, — замечал Сергей, — а теперь норовят под самую струю подойти, ложатся...» Володя бегал вокруг со своей камерой.

Пастухи, пользуясь тем, что олени стоят спокойно, кипятили чай на костерчике. Кавратагин подкладывал сухие веточки кустарника под черный бидончик, висевший на изогнутой пастушьей палке. Был Кавратагин оранжев с ног до головы — кора ольхи придает кушлянке и брюкам такой цвет, — только лицо его было темно-красным. «Олень еще худой. Зима этки плохой был, — объяснял он. — Пурга часто, гололед. Сейчас старый мех сбросит, поправляться начнет...»

Олени, правда, линяли. Старый сизый мех слезал клочьями, из-под него проглядывал блестящий, молодой. У иных на шкуре явственно виднелись небольшие черные дырочки — в этом месте не так давно ее прогрызла и вышла наружу жившая весь год под кожей оленя личинка кожного овода. Кожный овод, похожий на небольшого желтоватого шмеля, откладывает летом яйца на волосистой шкуре оленя. По волосу личинки проникают сквозь кожу, растут там, развиваются, а в июне выходят и падают на землю. Через три недели с земли поднимается новый овод. Круг замкнулся... Интересно, что оводы не садятся на слабых, поздно родившихся телят. Что-то подсказывает им, что такие телята могут погибнуть, а вместе с ними, следовательно, и потомство овода... Есть еще серенький овод, носовой, его личинки устраиваются в носоглотке оленя. Кавратагин убил такого овода, раздавил его у себя на ладони, и я

увидел замельтешившие там белые микроскопические существа... Вдобавок еще комары. Все это и называлось в анадырской сводке «массовым летом кровососущих насекомых». В прежние времена, да и сейчас, пастухи раскладывают дымокуры из мха. Помимо этого, теперь ведется опрыскивание. До недавнего времени делалось оно вручную. В колхозе имени Ленина впервые на Чукотке разработали и стали применять для опрыскивания технические средства...

Я не знаю, откуда пошла слава о неприхотливости северного оленя. По-моему, капризнее — нет, не так — именно прихотливее его нет животного на Севере. У Сергея я видел карту участка бригады. Разными цветами обозначены были на ней пастбища: зимние, ранневесенние, поздневесенние, летние, раннеосенние и т. д. Подсчитана была и указана оленеемкость пастбищ (есть такой термин). Разработаны точные маршруты движения стада. Специалисты по оленеводству устанавливают, какие корма в какое время года оленю нужны и сколько. Изыскивают наиболее эффективные, то есть экономически выгодные, способы кастрации. Определяют оптимальное соотношение в стаде половозрастных групп, составляют таблицы: матки, нетели, телки, телята, производители, быки-кастраты... Думают, как устранить непродуцируемые отходы — от некробациллеза, истощения после зимовки, — которые еще очень велики. Я не ставлю себе целью писать очерк об экономике Чукотки, поэтому, надеюсь, хозяйственники извинят меня, что я перечисляю здесь так много и только некоторые из множества этих вопросов. Я только хочу сказать, насколько далеко оленеводство от идиллической картины мирно пасущихся в тундре «олешков». У пастуха нет «свирели», у него есть палка, ровно такой длины, чтобы на нее можно было опереться во время бега,

и слегка изогнутая, чтобы пружинила при этом. Потому что работа пастуха — это почти постоянный бег. Одна из чукотских сказок начинается так: «У женщины было несколько слоновей. Когда они подросли и стали сильными и бегали так быстро, что могли догнать оленя, женщина послала их к далеким горам — окарауливать дикое стадо оленей...» Северных оленей никто никогда не приручал, на них охотились, и оленеводство родилось из преследования. И сейчас они если не совсем дикие, то полудикие.

Позже, вернувшись в Магадан, я попал на выставку работ магаданских художников. Внимание мое привлекла картина «Оленеводы». Изображены были на ней юноша-пастух, рядом девушка в белом халате и с чемоданчиком с синим крестом — зоотехник, а между ними торчала голова оленя с доверчивыми, прямо благодарными глазами. Я признаю право картины на символ, но у меня свежи были впечатления тундры, и я вспомнил, как мы ловили большого ездового быка, у которого обломился рог. В июле рога у оленей еще молодые, неокрепшие, покрытые пушистой кожицей, и часто ломаются. Ломаются прямо у основания прямые рожки годовалых телят, обламываются целые ветки у взрослых. И висят, болтаясь на одной коже. Пока с рогов не сходит кожа, в них усиленно циркулирует кровь. Олень, сломавший в это время рога, может погибнуть от потери крови... Кавратагин бросил чаат, но неудачно. Бык откололся от стада, перебежал через речку и встал там, на песчаной отмели. Бригадир снова подошел к нему, держа чаат за спиной, посвистывая. На этот раз ему удалось заарканить быка, и мы все кинулись на помощь. Подтянув, он схватил его за рога, другой пастух, Гемако, навалился на спину, олень упал, кто сидел у него на ногах, кто прижимал к земле голову. Что ме-

решилось в это время оленю? Кавратагин извлек нож, отрезал болтающийся обломок рога, начал состругивать, зачищать острые края. Кровь хлестала. Кавратагин достал из мешочка на поясе шелковые нитки, туго стянул вокруг обломанного места. Прибежал Сергей, с таким же, как на картине, чемоданчиком, присыпал это место сухой марганцовкой. Оленя отпустили. Он вскочил, пошатнулся и потрусил к стаду. Кавратагин, присев над речкой, вымыл руки и нож, собрал чаат. Отломавшаяся ветка рога очень напоминала человеческую руку. Нависают у взрослого северного оленя прямо над мордой два отдельных отростка, словно протянутые вперед, словно простертые в мольбе о чем-то руки... Иногда мы замечали, что олень захромал. Копытка... Его тоже непременно ловили, вскрывали гнойник на ноге, делали укол, разжимали зубы, сыпали на язык лекарство и заливали водой из черной резиновой бутылки...

В старину у чукчей-олленеводов было заклинание: «У хозяина Песчаной реки (Песчаная река — это Млечный Путь) я прошу большой железный ящик. Я помещаю в него мое стадо и запираю его на ключ. Как теперь келе войдет в него?» О, как понятна была эта древняя мечта о железном ящике, о надежном месте для стада, где с ним ничего не могло бы случиться!

Вместе со вторым пастухом, Гемако, пасли оленей два его сына. Старший, Сергей, в этом году закончил шестой класс. Был он молчалив и, видно, застенчив. Он никак не хотел, чтобы я его сфотографировал. Несколько раз я пытался снять его украдкой, но он словно чув-

ствовал, отворачивался в самый последний момент. Второклассник Олег, напротив, фотографировался охотно и с достоинством. Одет он был так же живописно, как Кавратагин, и воротник его кухляночки был собачий, и торбаса настоящие, с дырками, чтобы не набираться воде, а на голове мраныквын — легкая шапочка от комаров, сшитая из куска оленьей шкурки и отделанная по краям красной ленточкой. На остановках он, как и взрослые, деловито снимал торбаса, выбрасывал размокшие стельки из травы и подкладывал новые. Мы с ним подружились и любили разговаривать: я спрашивал, он отвечал, потом он спрашивал, но я не всегда мог ответить. Наше знакомство началось с того, что я поинтересовался, почему чай кипятят не в чайнике, а в бидончике. Бидончик удобнее носить, сказал Олег. А в яранге и в палатке они пьют из чайника. Потом он рассказал, что уже второй год пасет оленей, только прошлым летом мало пас. Он убил утку и полез за ней в озеро, хотя ему говорили не лазить, но он не послушался и заболел. Тогда прилетел вертолет, и его увезли в поселок... Иногда Олег прерывал себя на полуслове и бежал наперерез отколовшимся оленям, крича «Хок! Хок!» и размахивая своей палкой. Потом он возвращался, и беседа наша возобновлялась.

Я спросил его, кем он хочет быть — вездеходчиком, как Толя, или зоотехником, как Сергей.

— Я буду пастухом, — твердо сказал Олег и пояснил: — Вездеход не может пасти оленей. И зоотехник не пасет, только лечит...

— А чем тебе нравится в тундре? — продолжал я свои расспросы. И получал простой ответ:

— Кушать. Ходить к стаду. Отдыхать...

— Хорошая погода, — замечал я в другой раз. — Солнышко, тепло, ясно.

— Немножко нет, — вежливо возражал Олег. — Для оленей плохая.

Потом в свою очередь спрашивал:

— А ты где живешь?

— В Москве.

— Тебе нравится в Москве?

— Да как тебе сказать...

— А в тундре?

— Нравится, — искренне отвечал я.

— Тогда живи здесь, — заключал он мудро.

Во мне просыпался бывший учитель, я расспрашивал его о школе, как зовут учительницу, добрая ли она.

— Немножко нет, — отвечал Олег. — Ругается.

— Отчего же она ругается?

— Я немножко не стараюсь. Бывает, немножко опаздываю на урок.

— А тебе хочется сейчас в школу?

— Не очень, — честно признавался он, и я с огорчением думал: «Ну вот, дети пошли, в школу ему не хочется!» — А потом напоминал себе: — Как будто тебе самому очень хотелось после каникул в школу!»

Я попросил его написать мне что-нибудь на память в моем блокноте, он расписался: Олег Гемако. Потом, подумав, написал еще «Олень»...

Я подумал: забавно получалось — за несколько лет работы в чукотской школе я, кроме своего поселка, по сути, ничего не видел. И даже в тундре не бывал по настоящему, если не считать коротких вылазок на охоту. А теперь, пожалуйста, за какой-то месяц объездил пол-Чукотки, побывал у оленеводов... А интересно было бы пожить с ними именно тогда, учителем, посмотреть на своих учеников. Ведь я расставался с ними на целое лето, и каждую осень нам было очень трудно на первых порах находить общий язык. Наверное, я тоже

выглядел «немножко не добрым» — может быть, слишком ревностным, молодым был педагогом, может, переживал за свой сложный предмет, а главное, не знал я тогда, о чем они грезили наяву, только что вернувшись из тундры, сидя в классах и глядя на меня отсутствующими глазами. Теперь — знал и был уверен, что с этим знанием работать было бы легче...

Но когда учителю чукотской школы выбраться в тундру? В течение учебного года невозможно, а летом он если не в отпуске на материке, то или в пионерлагере, или едет в Магадан, на курсы усовершенствования, или парты красит. И никто не посылает его в тундру, где тоже курсы, и весьма полезные, где учитель и сам мог бы многое узнать, и свое учительское дело испробовать, не навязчиво продолжить... В Лаврентия я, кстати, видел знакомых учителей, разговаривал с ними — все так же красят парты...

А между тем пора было уезжать. Мы связались по радию с Лорино. Каждый день бывало по три установленных сеанса связи. Центральная усадьба вызывала по очереди все бригады. Позывные у них были «Арбуз-1», «Арбуз-2», «Арбуз-3» и т. д. Смешно: восемь «Арбузов» катались по тундре. Иногда на связь приходила жена какого-нибудь из тундровиков, говорила, что дома все в порядке, целует.

— Что? — переспрашивал «Арбуз».

— Целую!

— Что?!

Тут подключался наш Толя Рыбаченко:

— «Арбуз-5», целуют тебя, целуют, понял?!

Так вот, нам сказали, что вельбот за нами придет на следующий день. И с вечера, как это обычно и бывает на Чукотке, погода снова стала портиться. Сначала над заливом появилась полоса тумана, потом прямо на гла-

зах она перевалила через сопки и поползла в нашу долину. И сразу похолодало... Мы все-таки приехали на утро на берег, и вельбот пришел, но по заливу уже шла большая волна и тянулись с моря прямые, параллельные полосы пены. Еще два дня, укрывшись от дождя и ветра в старой, полуразобранной на костры охотничьей избушке, мы сидели на берегу, ждали, когда шторм утихнет. Потом часов восемь, промокшие и продрогшие насквозь, переплывали лагуну. Вдруг я вспомнил оленей и просто физически ощутил, как им сейчас хорошо и спокойно. Не трясут они головами, не топают ногами, не хоркают недовольно и не порываются мчаться куда глаза глядят. И пастухам спокойнее тоже. Укрывшись где-нибудь от ветра, пьют они чай, настоявшийся до черноты. А школьники чай не пьют, они делают себе кисель. «Кисель вкуснее», — объяснял Олег Гемако. Еще я вспомнил, как Олег, пускаясь вдогонку за отколовшимися оленями, бормотал: «Эх, Сырдарья, Амударья!» — и это означало, что он особенно рассердился.

Я стоял в Лаврентьевском аэропорту и смотрел на вертолет. Вертолет должен был лететь в Уэлен и, разумеется, сразу вернуться. И я мог это сделать. Сбывался мой постоянный сон — о беге по Уэлену. И я отказался. Если бы у меня был еще хотя бы месяц! Я бы сел на вельбот, доплыл бы до Нунямо, оттуда бы вместе с охотниками перебрался в Наукан, из Наукана пешком через сопки — в Уэлен... Но у меня был всего день. И я отказался. Я сел на самолет, чтобы вернуться в Анадырь, потом в Магадан и в Москву. Снова пошли вниз распадки с высохшими руслами рек, похожими, в сетке мелких ручьев, на старую кожу, из которой ушла боль-

шая сверкающая змея... Мне хотелось проститься с Севером как-то торжественно, сказать ему какие-то необыкновенные слова. Как это сделали, например, замечательные датские путешественники и исследователи Арктики Петер Фрейхен и Финн Саломонсен в конце своей прекрасной книги «Когда уходят льды». «Людам, побывавшим в Арктике,— написали они,— всегда хочется туда вернуться. Они не находят себе покоя и готовы многим пожертвовать, только бы еще раз бросить взгляд на полярные льды. Арктика прочно завоевывает их сердца. В чем же кроется ее обаяние? Не в том ли, что здесь можно ближе подойти к сокровенным тайнам природы, а следовательно, и жизни человека! Арктический пейзаж прост и ясен. Все лишнее, все ненужное исключено. Нет ни деревьев, ни домов, не слышно шума; иногда пройдешь десятки миль и не встретишь признаков человеческого существования. Один во всем мире, наедине со своими мыслями, человек сливается с окружающей природой, слышит биение ее сердца, проникает взором за бесконечный горизонт и ощущает всю полноту своего бытия».

Да, может быть, медики, психологи и философы со-обща откроют когда-нибудь сущность этого необыкновенного влечения. Исследуют состав воздуха, проследят зависимость настроения от созерцания поутру плавных очертаний гор, а ввечеру — тихих и ясных вод, установят необходимую и достаточную для человека дозу информации о мире и выведут формулу Севера. Пока же этого нет, и один мой знакомый свою любовь к Чукотке объясняет просто: «Нравится мне холод! Тот самый — воспетый, когда «снова счастлив, молод, и снова жизни полн!» И я его понимаю. А тут еще, по некоторым теориям, ожидается потепление на Земле, и, следовательно, Север, каким мы его видим сейчас, исчезнет. Я знаю

очень многих людей, которые не хотели бы этого. К счастью, по тем же теориям, это должно произойти не очень скоро, и долго еще можно будет узнавать и любить его таким, какой он сейчас... Впрочем, все это не те, не торжественные слова. Меня мучило обилие нерассказанного, оставшегося за пределами этого короткого очерка. Например, полянка цветов на пустынной косе посреди туманного Мечигменского залива. Довольно крупноватых для Севера цветов с желтыми лепестками и сердцевинкой, на толстых коротких стеблях с шершавыми листьями. Что-то мне эта желтизна и шершавость напомнили. Я понюхал цветок, растер и понял, что это обыкновенный, только очень маленький подсолнух. Кто-то, наверное, просыпал здесь горсть присланных с материка семечек... А одинокая яранга на дне громадной и круглой чаши, сверкавшая в низком ночном солнце, — словно космическая капсула. И запах растрепанной травы, цветов и земли, после того как стадо прошло по тундре... Но странно: оказалось, что я совсем не сожалел, что не удалось мне побывать в Уэлене.

— Пусть Уэлен,— сказал я себе,— остается залогом...

Оттого и не шли мне на ум слова прощания с Чукоткой — я знал, что я не прощаюсь, я еще вернусь.

Июль 1972 года

## ВНОВЬ НА РОСОМАШЬЕЙ РЕКЕ

1

Известно, что вся Чукотка, вопреки элементарным географическим определениям, материком себя не считает. Правда, и островом не называет. Просто говорят люди: «Откуда? С материка. Куда? На Чукотку...» Впервые прямое сравнение с островом увидел я в статье Валентина Васильевича Лысковцева, секретаря Билибинского райкома партии. «Билибино называют островом, — прочел я в «Магаданской правде». — И это потому, что расположен он в большой котловине, окруженной высокими сопками. Поселок отгорожен непроходимой тундрой, горными хребтами, бурными реками. Однако его население трудится по-ударному и живет полнокровной жизнью». Я в этот момент как раз летел в Билибино и находился где-то между Сеймчаном и Омолоном.

Не знаю, как вы, читатель, а я по себе замечаю, что когда летишь на большом самолете, например, из Москвы в Магадан, то словно выключаешься из жизни.

Когда же в Магадане пересаживаешься в самолет поменьше и летит он пониже и помедленнее, не столь отрешенно от земли, то и в тебе этой оторванности нет — начинаешь вообразить, как прилетишь, кого

встретишь, живо приобщаешься ко всему, что видишь внизу.

А внизу разворачивались те самые, помянутые Валентином Васильевичем «горные хребты и бурные реки». Впрочем, хребет — это ведь какая-то все же линия, цепь, а тут никакой линии невозможно было угадать, горы высились сплошь, от края до края, иные совсем были засыпаны снегом, у иных прорезались черные каменные вершины или обнажалась отвесная стена. Бесконечная, однообразная, сверкающая под солнцем, черно-белая, с серыми тенями в распадах пестрота... Иногда открывалась широкая долина, река в ней тоже была укрыта снегом, придавлена льдом. Лишь в очень открытых местах, на излучинах, снег сдувался ветром и темнели узкие полукружья льда, обозначая, какую немыслимую петлю выписывало здесь русло или протока... И ни малейшего признака, следа человеческого пребывания. Остров не остров, но какой-то затерянный мир, это точно... Я вспомнил, как несколько лет назад, когда я вот так же приехал в Билибино и познакомился с Лысковцевым, он уповал: «Вот закончим аэродром для большегрузных самолетов в Кэпервееме, отсыпем дорогу, тут всего тридцать километров, и со снабжением будет проще. Ведь от турбины для «атомки» до последнего гвоздя — все везем с материка! Не говоря уж о продуктах. А единственная пока дорога — зимник...» За жизнью Билибино я следил и знал: и аэропорт, и дорога к нему построены. Теперь в статье Лысковцева выдвигалась другая идея — превратить трехсоткилометровый зимник Билибино — Зеленый Мыс в постоянную, круглогодичную дорогу. В Зеленом Мысе морской порт, основные грузы приходят туда... Что ж, это было естественно: перспективы перед районом открывались большие, и потребности его росли.

Прошлый раз я был в Билибино в разгар лета. По всей континентальной Чукотке стояла тридцатиградусная жара. К вечеру солнце опускалось пониже, поостывало, и прохладная белая ночь выманивала на улицу. Я выходил из дома, бродил по поселку и обнаруживал, что я далеко не единственный полуночник. Интересно было наблюдать за разговором каких-нибудь находящихся в отдалении людей. Именно — наблюдать: одолевали комары, люди, отмахиваясь, делали самые отчаянные жесты, прикладывали руки ко лбу, щекам, хватались за голову, а слов не было слышно, и казалось, что происходит какой-то безмолвный пересказ совершенно невероятной, ужасной, раздирающей душу трагедии... Сейчас было самое начало марта. Полярная ночь кончилась, пятидесяти-шестидесятиградусные морозы миновали. Днем доходило до 25—30, что, по здешним понятиям, уже не холод, и только по утрам, как говорили билибинцы, «еще маленько давило».

Первой, приятной для всякого путешественника, новостью была большая четырехэтажная гостиница «Северянка», выстроенная на улице Курчатова. В номере, куда меня поселили, я обнаружил полный комплект мужской парадной одежды: костюм, сорочку с галстуком, ботинки. «Пастух здесь жил, из тундры... — пожаловалась Сима, дежурная по этажу. — Они всегда так. Едут в отпуск, покупают костюм. А возвращаются — бросают. Зачем им в тундре?! А у нас теперь этого добра... прямо хоть коммиссионный открывай!» Я вообразил на миг паренька, прыгающего по кочкам в накрахмаленной рубашке, лакированных туфлях и с ременным чаа-том в руках. Действительно — не вязалось...

Совсем недавно, а если быть точным, 9—10 февраля 1976 года, поселок Билибино праздновал свое двадцатилетие. Я и летел-то сюда с расчетом, чтобы поспеть,

но — поздно выехал из Москвы, задержался в Магадане... Однако я был спокоен: все, что касалось юбилея, итогов, наград и дальнейших обязательств, было, несомненно, запечатлено, собрано и увековечено моим добрым старым знакомым, старожилом Билибино и ревнителем его истории Григорием Сергеевичем Глазыриным. Я услышал о нем, еще не успев въехать в поселок. Дорога из аэропорта вдруг разделилась надвое, на развилке стоял «кирпич». Шофер поехал на «кирпич». Я оглянулся — тяжелый грузовик позади тоже свернул за нами. Дорога здесь шла по реке, по Кэпервеему, ровная, гладкая, как асфальт, только без жесткости асфальта, изредка, будто через плавную волну, переваливая огромные вспучившиеся наледи. Я спросил про «кирпич». «А это есть у нас такой неугомонный Дед, — сказал спутник. — Он и добился, чтоб поставили. Советование было как-то в исполкоме, по охране природы. Так он часа два докладывал... Ну и почему по реке зимой нельзя ездить. Загрязняем, говорит, лед. Все это весной уйдет в воду. А на перекатах, где до дна промерзло, портим речную растительность...»

— Но ведь все равно ездите?

— Ездим, — сокрушенно согласился спутник. — Какой чукотский шофер устоит. Такая дорога!

А в «неугомонном Дезде» я узнал Григория Сергеевича и порадовался его верности себе, неиссякаемому его энтузиазму.

Глазырин по-прежнему, несмотря на свои шестьдесят семь лет, работал начальником гидрогеологического отряда в АКГРЭ; слово это, напоминающее крик осипшей на морозе птицы, обозначает: Анюйская комплексная геологоразведочная экспедиция. И, помимо основного своего занятия гидрогеологией, по-прежнему со дня основания оставался общественным директором

Билибинского краеведческого музея. В музей он меня и потащил, едва мы встретились. Я года три не был в Билибино, а зимним его вообще не видел — шел, озираясь. На центральном перекрестке, рядом с экспедицией, намело большой сугроб: один склон довольно пологий, другой почти отвесный. Рядом, по скрипучему билибинскому снегу, кружили на велосипедах мальчишки. Задача была: разогнавшись, взлететь на пологий склон и — сверзиться с отвесного... Молодая женщина катила навстречу детскую колясочку, и так все было внутри колясочки укутано, завешено, закрыто, что только по ее ширине можно было догадаться, что там — двойня... На автобусной остановке стоял огромный парень в огромных валенках, в ушанке, казавшейся крохотной на его голове, и с необыкновенным румянцем на круглом лице. «Типичный старатель, — определил я. — Ему бы еще фанерный чемодан с висячим замком...»

Окна домов в Билибино, пока держатся холода, — это витрины всевозможных яств. Чего только не вывешено наружу, на мороз: мешки, авоськи с мясом, рыбой, ягодой, выставлены какие-то ящики, кастрюли, банки. Над форточками — большие плотные карнизы иinea... В самом центре поселка, я помнил по прошлому разу, стояло несколько трехэтажных домов в аварийном, если выразаться языком техническим, или попросту в плачевном состоянии. На их стенах снизу доверху — издалека, как черные высохшие деревья, — разветвились трещины; жильцы выехали; к домам, чтобы не окончательно они развалились, поставили подпорки. Нередкие для Севера последствия многоэтажного строительства на вечной мерзлоте, когда грунт под домом оттаивает и проседает. Казалось мне тогда, что эти дома осталось только сломать. «Вечную мерзлоту или совсем не тревожить, или тревожить капитально, — говорил мне

один магаданский архитектор. — А Билибино что? Это же был испытательный полигон для проектировщиков. Там упражнялись и так, и эдак...» Однако увидел я, что дома те самые продолжали стоять как новые. «Стены затащили мощными металлическими балками, — объяснил Григорий Сергеевич. — Как в корсет... А сверху еще один способ борьбы с вечной мерзлотой, то есть борьбы своеобразной, заключающейся в том, чтобы ее сохранить. Вокруг домов, на некотором расстоянии, по периметру бурятся скважины, в них вставляются трубы, заполненные керосином. А керосин, как известно, хорошо проводит холод. Я вдруг очень зримо представил, как в жесточайший мороз земля втягивает, впитывает через эти трубы бесплотный пока холод и он расходуется на глубине во все стороны, материализуется в маленькие кристаллики, в целые ледяные глыбы...

Но вот и музей — все в том же домике, в одном из первых домов поселка, под которыми грунт никогда не проседает, которые так споро и без затей ставятся первопроходцами и стоят надежно по многу лет, и еще могут стоять, ровно столько, сколько понадобится... Когда-то, лет шесть назад, отвели здесь Григорию Сергеевичу одну маленькую комнатку, и в ней стала сосредоточиваться история Билибинского района. Теперь же музей занимал дом во всю его длину; то, что раньше было лишь намеком, знаком и уютилось в небольшой витринке или на стенде, стало разделом. Жизнь и деятельность Юрия Александровича Билибина, чьим именем названы поселок и район, история самого поселка, летопись строительства атомной электростанции, прежний и новый быт оленеводов, золотые прииски — все это размещалось сейчас в отдельных комнатах. Просторно стало многочисленным образцам полезных ископаемых,



костям, бивням, черепам мамонтов, бизонов и прочих вымерших животных, а также чучелам ныне уцелевших; улеглись, наконец, во всю ширь своих разворотов страницы пожелтевших газет, расположились в должном порядке фотографии, появилась масса новых экспонатов. Историю и способ приобретения некоторых из них я знал. Приезжает, к примеру, Григорий Сергеевич в отпуск на материк. Отпуска у северян, как известно, долгие, но еще более долгие и перерывы между ними: два-три года. Ну чем, скажите, заниматься в отпуске человеку его лет, половину из которых он отдал Северу, исходил пешком, «ископал», как здесь выражаются, пол-Колымы и Чукотки? Ясно — отдыхать! Но у Глазырина свои планы. Сначала он едет в Ленинград, где живет семья Билибина. Потом устремляется куда-нибудь в Ростов — там проживает другой, забытый всеми, но не Глазыриным ветеран Севера. Затем еще куда-то, к кому-то... В конце отпуска звонит: «Приезжайте, поглядите мои «трофеи!» И с торжеством предъясняет походный нож Билибина, вьючную суму из отряда академика Сергея Владимировича Обручева, сетку для образцов, которой он пользовался... Все это я сейчас в музейных витринах и вижу...

Билибинский краеведческий музей называется народным, он создан на общественных началах, на энтузиазме добровольцев. Я знаю многие поселки на Чукотке с гораздо более древней историей, чем у Билибино, но таких музеев там почему-то нет. Нет даже в моем Узлене, куда приезжают археологи и раскапывают человеческие жилища, сделанные во II тысячелетии до нашей эры. И то, что билибинцы свой недавний, всего лишь вчерашний, и свой сегодняшний дни осознали как исторические и постарались запечатлеть, — факт знаменательный. Из этого факта многое можно вывести — ну

хотя бы уважение к тем, кто пришел сюда первым, к их труду, и уважение к собственному труду, и мысль о тех, кто будет трудиться здесь завтра. Мой знакомый магаданский социолог и демограф мечтает о том времени, когда во вновь освоенных северных районах подрастет поколение, для которого эти районы будут родиной. «Прекратится, наконец, эта постоянная езда взад-вперед, с материка, на материк, — говорит он. — Прекратится колоссальная трата государственных денег только на ввоз и вывоз рабочей силы!» То есть он смотрит с понятной, с экономической точки зрения. Но есть и просто человеческая. Новое поколение, подросток за эти годы в Билибино, кончает сейчас школы, получает паспорта. Эти ребята не раз были и еще будут в музее. Они узнают здесь не о «делах давно минувших дней», а о делах своих отцов, матерей, видят их лица, читают их фамилии — с в о и фамилии. И лишней раз утверждают, что корень их — здесь...

А Григорий Сергеевич, переводя меня от экспозиции к экспозиции, сетует, что помощников мало, что многое приходится делать самому. Я знаю, что есть, есть у него помощники: и школьники, и комсомол, и общественники, и шефствующие предприятия, — просто музей его детище, и по исключительности, по силе своего энтузиазма он действительно главный энтузиаст. Недаром и общественный директор. Не будь его, эта идея, наверное, воплотилась бы в ком-нибудь другом, а так билибинцы спокойны, знают, что Глазырин есть и ничего, ни одной черточки из их действительности он не упустит. Вот, кстати, и стенд, посвященный 20-летию... Фотография широкого, пустого, заснеженного пространства. В отдалении — сопки с лиственничным редколесьем. На первом плане — одинокая, искореженная ветрами лиственница. Это долина Кэпервеема, Росомашей ре-

ки, двадцать лет назад. Здесь, с палаток, с маленьких рубленых домиков и зародился поселок.

Вот и статья Глазырина в местной газете «Золотая Чукотка»: «Так начиналось Билибино»... Панорама нынешнего поселка с кварталами многоэтажных домов, с силуэтом «Орбиты» на сопке... Проникновенные слова: «Тебя основали геологи, имя тебе дали геолога, открывателя первого Золотой Колымы»... Отпраздновано было торжественно. Были гости, среди них первооткрыватели чукотского золота, лауреаты Ленинской премии Константин Александрович Иванов и Салат Михайлович Абаев. Было учреждено звание «Почетный гражданин Билибино». Было обращение поселкового Совета билибинцам, где, в частности, говорилось: «От жирника и свечей мы дожили до огней первой заполярной «атомки», в наших квартирах светятся голубые экраны телевизоров... Часть Вашего личного труда, частица Вашего тепла и сердца остались в Билибино. Поздравляем Вас...» И была, наконец, и осталась теперь песня о Билибино, сочиненная геологом Русланой Тулиновой:

Сколько с тобой, Билибино, связано, видано,  
Наши дома и площади тоже чуть-чуть музей.  
Зимний туман — Билибино, белая ночь — Билибино,  
Нам не забыть, Билибино, верных своих друзей...

— Хорошая песня, — говорю я.

Григорий Сергеевич вдруг раздвигает свою бородищу в широкой улыбке:

— А в наше время пели не так! «Чифирные консервные баночки попадают на по пути. Ты смотри на пустые жестяночки, чтобы легче дорогу найти!»

И, обернувшись к фотографиям, глядящим на нас со стен, он взмахивает рукой, как бы призывая первопроходцев, старых своих товарищей, поддержать, грянуть припев:

Бредешь кое-как, три пуда рюкзак,  
Устал, как черт, зато и рад, и горд,  
Недаром сезон в тайге проведен,  
Держись, старина, получит золото страна!

— Это был наш «Марш сеймчанских геологов», — заключает Глазырин. — Базировались-то мы тогда на Колыме, в Сеймчане. А здесь было — «поле»...

Теперь, когда двадцатилетие поселка миновало, Григорий Сергеевич был одержим двумя идеями. Первая — поставить рядом с музеем ярангу оленеводов, настоящую, с меховым пологом, с предметами домашнего обихода. Так сказать, филиал музея на открытом воздухе. В ограде, конечно, чтоб бичи не вселились... Вторая — «идея мамонта». Попадают до сих пор в изобилии в чукотской земле кости мамонтов, встречаются даже целые скелеты. Но целого в Билибинском районе пока не нашли, и Григорий Сергеевич задумал собрать, «скопить» его по частям.

— Череп с бивнями, три ноги, верхняя челюсть, две тазобедренные кости уже есть. Осталось...

И «неугомонный Дед» начинает перечислять, что — осталось...

2

Кроме старожилов «золотого» Билибино, его основателей, геологов и горняков, есть в поселке и другие ветераны — ветераны «атомки». В самых первых строках летописи Всесоюзной ударной комсомольской стройки Билибинской АЭС записано: «Год 1966-й. 14 января. Принято решение о строительстве Билибинской атомной электростанции». Так что «атомка» в Билибино, можно считать, вдвое моложе поселка. Соответственно молоды и «ветераны»: тридцать — тридцать пять лет...

Так вышло по ритму моих чукотских путешествий, что до нынешнего приезда я видел Билибинскую «атомку» дважды — не скажу, что в самые ее ответственные, но довольно характерные моменты. Впервые, мимолетно — летом 1969-го. И взгляду непосвященного человека стройка являла тогда малопонятное зрелище. Ну если бы протекала могучая река и строили ГЭС, было бы ясно: вот здесь перегородят ее плотиной, и такие плотины мы еще по школьным учебникам, еще по изображениям Днепрогэса привыкли представлять. Тут же была широкая, окаймленная сопками долина с маленьким, совсем потерявшимся между валунами и кустами ручейком Понеургин. А на склоне одной из сопок и у подножия ее была взрыта земля, не столь, кстати, и глубоко, да стояло несколько домиков. Особенной мощи техники тоже тогда не наблюдалось: ходил взад-вперед бульдозер, мелькали изредка самосвалы. На дне какой-то ямы лежала бетонная плита. Вот и все. Что здесь будет? Как это будет выглядеть? Теперь в летописи я читаю: «Год 1969-й. 13 мая. В подпорные стены приемка здания спец-водоочистки уложен первый куб бетона...» Вот, оказывается, что это было...

Спустя три года, летом 72-го, я отправился в Билибино специально. Уже можно было видеть, что представляет собой «атомка», по крайней мере, снаружи. На склоне сопки расположился огромный, по чукотским понятиям, дом — метров сто в длину, шестьдесят в ширину и тридцать в высоту. Две высокие трубы над плоской крышей. Стены его отливали на солнце светлым металлическим блеском. И оттого, что этот большой дом стоял так уединенно в тундре и так непривычно — не камень, не дерево, не штукатурка — выглядели его стены, вид у него был какой-то загадочный, странный, нездешний, ну, может быть, как у инопланетного

корабля, причалившего из космоса тихо, без грома и огненных струй...

Водил меня тогда по станции Владимир Кузьмич Абалякин, молодой инженер из дирекции строящейся БАЭС. По специальности он был не строитель, а энергетик и приехал в Билибино как эксплуатационник, хотя до пуска «атомки» было еще далеко. Показывал он мне, как я догадался, не что есть, а что будет, но показывал так, будто это уже есть. Мы поднимались по крутым деревянным лестницам, проходили по дощатым мосткам над пропастью и попадали в просторное помещение с круглыми глубокими колодцами в полу. На дне колодцев и рядом с ними лежали какие-то металлические детали непонятного назначения, такие же большие, как все вокруг, каждая деталь пока сама по себе, а Владимир Кузьмич говорил: «Это реакторный зал. Четыре блока...» И объяснял принцип работы реактора. Мы перелезали через отверстия проемы в стенах, нависали там над другой пустотой, и Абалякин называл: «Блочный щит управления. По одному щиту на два блока. Обслуживает смена из нескольких инженеров. В белых одеждах...» Конечно, он уже работал на атомных электростанциях и мог все это себе представить. Я же видел со всех сторон, и справа, и слева, и над нами, и под нами, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, монтажников — отнюдь не в белых одеждах, — видел хаос металлических конструкций, свежие кладки из бетонных блоков, вспышки электросварки, слышал стук и гул, наполняющий изнутри весь этот дом. Тогда, мне показалось, на «атомке» был самый разгар работ — разгар для строителей.

И от строителей я узнал массу интересных вещей. Я узнал, что возведение этого дома — я по-прежнему упорно называю его «домом», потому что в то время это

действительно был пока дом, не «атомка», — да, возведение такого вот дома, впервые в условиях Чукотского Заполярья, было для них... как бы это поточнее сказать... чем-то вроде непрерывного эксперимента. Правда, сразу отказались экспериментировать с вечной мерзлотой, о которой я уже упоминал. Сняли со склона несколько метров почвы и поставили здание на коренные, скальные породы — так-то надежнее. Но вот хотя бы крыша. По проекту для нее в качестве утеплителя предназначался газобетон. Строители предложили пенополистирол, в итоге вес крыши уменьшился на тысячу тонн, затраты — на 140 тысяч рублей... Или укладка бетона в мороз. Раствор с завода приезжает на стройку с температурой всего 5—6 градусов. Предыдущие блоки уже застыли. Чтобы бетон схватился с холодной конструкцией, надо его опять разогреть. Для этого строители изобрели и сами сделали специальные бадьи с электродами. Подается напряжение 380 вольт, и раствор обретает нужные семьдесят — семьдесят пять градусов... Я узнал, что стены, выгладевшие столь экзотически, смонтированы из алюминиевых панелей, и такие стены на Чукотке — тоже впервые. Панели двойные, с утеплителем, и, несмотря на то что толщина их всего тринадцать сантиметров, они позволят поддерживать внутри здания температуру плюс двадцать при минус пятидесяти снаружи. Чтобы обеспечить такой тепловой режим, из бетоноблоков пришлось бы выложить целые крепостные стены толщиной около метра, нагрузка на фундамент увеличилась бы на 7,5 тысячи тонн... Я познакомился с Николаем Ботиным, бригадиром которого ставила эти панели. Кстати, в летописи стройки есть и такая запись: «Год 1971-й. Ноябрь. Комсомольско-молодежной бригадой монтажников (бригадир Николай Ботин) с оценкой «отлично» досрочно закрыт главный кор-

пус АЭС»... Ботину было тогда тридцать три года, средний возраст ветерана «атомки».

До Билибинской участвовал в строительстве Белоярской атомной электростанции. Был там депутатом областного Совета, имел трехкомнатную квартиру. Приехал в Билибино со всей семьей, жил пока в квартире друга, уехавшего в отпуск. «Закрыли стены за два с половиной месяца, — сказал он. — Торопились, чтобы дать возможность строителям наладить отопление и работать внутри корпуса. А над стеной из бетоноблоков полгода пришлось бы трудиться...»

Познакомился я и с бригадиром каменщиков Петром Щербаком. Высоккого роста, с лыняными кудрями белорус. Он со своими ребятами выкладывал тогда стенку на отметке 15.60. Посовещались в бригаде, решили тридцати-сорокакилограммовые блоки таскать на себе. Не потому, что не имелось техники, но объем работ был невелик, и монтировать подъемный механизм не было смысла — и дорого, и долго... Я понял: тут все считали — и время, и деньги, и материалы, и человеческие усилия — и старались сэкономить на всем, ну а если уж не получалось на всем, то жертвовали прежде всего своим временем и своими усилиями. Висел тогда на стройке плакат: «Строитель, помни! Бетон м<sup>3</sup> стоит 102 руб. Раствор м<sup>3</sup> — 106 руб. Брус м<sup>3</sup> — 280 руб. Стекло м<sup>2</sup> — 2,30 руб.». В сравнении с центральными районами страны это дороже в 4—4,5 раза. Во столько же надо увеличить затрачиваемую людьми энергию, и тогда, без описания пятидесятиградусных морозов, метелей и полярных ночей, можно понять, что такое стройка на Севере...

«Торжественное нажатие кнопки» произошло... Впрочем, на атомных электростанциях подобная дата как бы раздваивается, существуют два одинаково важных,

одинаково ответственных, одинаково торжественных момента. Первый — когда в реактор загружают необходимое для его работы количество стержней с ураном и происходит так называемый «физический пуск». Второй момент — когда станция начинает давать промышленный ток, «энергетический пуск». Оба эти момента помнятся на Билибинской «атомке» до минуты. 10 декабря 1973 года в 21 час 57 минут по местному времени (разница с московским — девять часов) в первый реактор опустили первый рабочий канал. К следующему дню загруженная масса урана стала, что называется, критической, и реактор «заработал». Вот это была горячая пора для «атомщиков», эксплуатационников. По круглым суткам они от этого реактора не отходили, исследовали, испытывали его нрав, проверяли как самостоятельное «физическое нейтронное устройство». Обращаюсь к сравнению, от атомной физики очень далекому, — вот так необъезженного коня укрощают, прежде чем запрячь. И через месяц, 12 января 1974 года в 22 часа 15 минут, реактор «запрягли»: энергию ядерного распада передали воде, вода обратилась в пар, пар ринулся в турбогенератор — по высоковольтным линиям пошел ток. Из летописи: «Год 1974-й. 22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Билибинская районная комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени за развитие энергетики на Крайнем Северо-Востоке и коммунистическое воспитание молодежи». Но летопись на этом далеко не закончилась — оставалось смонтировать и пустить еще целых три реактора, или, как тут говорят, три блока..

...И вот я опять, в третий раз на «атомке» (и опять через три года)... Вдоль дороги от поселка к станции тянется — вернее сказать, тянется от станции к поселку — трубопровод, трубы уложены на высокие стойки, весь

он как бы подвешен в воздухе. Это теплотрасса, она готова, но пока не пущена, не решились строители опробовать ее в сильные морозы. Примерно через месяц пойдет по этим трубам от «атомки» к поселку горячая вода. Тепла, образующегося в ее реакторах, хватит и на то, чтобы отапливать Билибино. Погаснут поселковые котельные, перестанет висеть над долиной облако черного дыма... Знакомые четыре бетонные буквы перед станцией — БАЭС, только в прошлый раз казались они почему-то огромней... Вход: устланная каменными плитами площадка, широкий нависающий козырек, сплошные стеклянные двери — так выглядит подъезд какого-нибудь современного здания театра. Из проходной я позвонил Абалакину. (Приятно все-таки встречать и называть старые имена! Так, Петр Щербак, я уже знал, по-прежнему бригадирствует, сейчас, когда строительство «атомного дома» закончено, ставит жилые дома в поселке. Член Магаданского обкома КПСС... А Владимир Кузьмич — заместитель главного инженера станции.) Он встретил меня, и мы отправились по многочисленным лестницам, коридорам, перешли из служебного корпуса в главный по закрытой стеклянной галерее. В одном месте Абалакина отвлекли каким-то вопросом, а я увидел интересный плакат. «Доза облучения в БЭР (биологический эквивалент рентгена), — гласил он. — Возможное действие: 25 — видимые нарушения отсутствуют. 25—75 — возможно изменение в крови, серьезные нарушения отсутствуют...» И т. д. Завершался этот бесстрастный перечень так: «400 — смерть 50% пострадавших. 600 и более — поражение обычно смертельно для 100% пострадавших». Подошел Владимир Кузьмич, махнул рукой: «Это тыщу лет надо проработать, и то столько не схватишь. 0,02 — допустимая норма...»

Сбылись некогда обещанные Абалакиным белые

одежды! Прошлый раз мы с ним лазили по этому дому в строительных касках, теперь нам выдали белоснежные халаты с меткой на кармашке «БАЭС», такие же шапочки, на ноги натянули мы какие-то прозрачные калоши. Возле окошка дозиметрической службы Владимир Кузьмич получил и прицепил к пуговице халата маленькую черную кассету. В ней обычная фото пленка. Все кассеты пронумерованы, у каждого сотрудника станции, имеющего доступ в «зону строгого режима», своя. Периодически пленку проявляют — для контроля... Мы прошли через раздевалку с душевыми и вступили в «зону». Опять коридоры, переходы, лестницы — теперь уж не деревянные, конечно, — и опять тот самый реакторный зал. «Сердце атомки», как принято выражаться... Гул, грохот, бешеное вращение, низвергающаяся вода, вздымающиеся клубы дыма — вот что до сих пор производит на нас привычное впечатление работы. Здесь же было тихо. Там, где когда-то зияли глубокие, незаполненные колодцы, легли мощные металлические, почти вровень с металлическим полом люки. И все. Вот так это и выглядело. Большой пустой зал, тишина, неподвижность, тепло, за окнами древний, застывший, заснеженный пейзаж. Единственное движение в зале — несколько женщин в белом намотанными на щетки влажными тряпками протирали пол... И все-таки было ощущение, что что-то происходит. Может быть, это был результат особой настроенности сознания. Я наклонился и приложил ладонь к люку — он был горячее руки. «Над реактором два с половиной метра специальных защитных перекрытий, — сказал Абалакин. — Но греет, конечно. Температура графитовой кладки 450—470 градусов...»

«Зону строгого режима» атомщики на своем условном языке называют «грязной». Ну а в буквальном

смысле по чистоте станция действительно напоминает корабль. Да и вообще в ней много от корабля: машинный зал, гулкие рифленые металлические полы, отвесные трапы. Смена инженеров, дежурящих возле пульта управления, именуется «вахтой». И какая-то во всем четкость... Если в реакторном зале предстала и слегка разочаровывала видимая простота, или, точнее, недоступна была скрытая сложность, то эта сложность, «изнанка простоты», в полной мере открывалась непривычному взору на пульте. На дверях этого помещения кратко (здесь любят краткость) было написано: БЩУ—I, что означало «Блочный щит управления». Щит оказался довольно высокой, вогнутой к зрителю стеной с вмонтированными в нее приборами. Нельзя сказать, что приборов было «много» — их было необозримо, ошеломляюще много! Круглые, полукруглые, квадратные, прямоугольные, большие и маленькие стекла, стрелки за ними, прыгающие и неподвижные, красные предостерегающие отметки, вздрагивающие самописцы, неуклонно что-то вычерчивающие на диаграммных лентах, кнопки, тумблеры, рычажки... Бросалась в глаза геометрическая точность, строгая симметрия, с которой все это располагалось, — отвлекаясь от инженерной целесообразности, это было просто красиво... Перед щитом стоял стол с пятью-шестью телефонами, имелся еще микрофон, динамик. Вокруг стола сидело несколько операторов, все молодые ребята. Сидели, смотрели на щит. Время от времени кто-то подходил к какому-нибудь прибору, что-то записывал. Иногда говорили что-то в микрофон, о чем-то оповещал динамик... Здесь я встретил начальника смены АЭС Георгия Владимировича Букина, который сказал, что «станция в управлении очень проста». Все автоматизировано. Мощность реакторов задана и поддерживается автоматически, с помощью СУЗ — стерж-

ней управления и защиты. Имеется и автоматическая система контроля. За приборами на щите помогает следить предупредительная сигнализация. Не усмотрел оператор — звонок напомнит ему, что надо обратить внимание, скажем, вот на этот прибор. Все наблюдения за состоянием блоков записываются в «важтенный журнал»... Под стать главному смыслу своей речи — что станция «проста» — объяснял Георгий Владимирович спокойно, неторопливо, и вид у него был какой-то домашний, добродушный, и по-домашнему уютно, чем-то вроде пижамы, выглядела на нем романтическая белая спецовка — не было в нем ничего от той загадочности, которую привыкли мы в своем воображении связывать с обликом «атомщика».

Несколько слов о Букине. Тридцать три года. Ветеран из ветеранов. В 66-м году, когда было принято постановление о строительстве Билибинской атомной, весной он защитил дипломную работу в МВТУ, а в августе уже был здесь. Директором строящейся БАЭС был Владимир Георгиевич Букин — отец. Он и позвал. Сам Букин-старший начинал когда-то на Днепрогэсе, слесарем. Вслед за Георгием приехали еще три брата, все энергетики. От тех времен сохранилась фотография: солнце, ослепительный весенний снег, пятеро голых по пояс лыжников скатываются с сопки. В центре отец, по бокам Владимир, Дмитрий, Евгений и Георгий. Подпись: «Батя с сыновьями осваивает Чукотку». Сейчас отец на пенсии, в Москве, в каждом письме справляется, «как там атомка». А трое братьев из четверых остались на Севере: Дмитрий в Якутии, директором строящейся Нерюнгринской ТЭЦ, Георгий вот на «атомке», и Владимир здесь же, в Билибинском районе, тянет ЛЭП на один из приисков... А тогда, в 66-м, начинали с «кола». В дирекции работало всего шесть человек. Основная

задача — связь со строителями, и сами, по сути дела, стали строителями. Потом пошло оборудование для станции со всех концов страны... Но это ведь звучит так хлестко, так заманчиво: «БАЭС строит вся страна!», а в смысле организации поставок очень усложняет дело. Причем доставлялось оборудование единственной дорогой, Северным морским путем, и только летом, в короткую навигацию. Опоздаешь заказать заранее, получишь через год, а то и два... Этот самый важный в то время участок — отдел оборудования — Георгий и возглавлял. А оно ко всему еще нестандартное, опытные образцы. Ездил Букин по заводам-поставщикам, вникал в проекты. Сам и встречал это оборудование в морпорту, на Зеленом Мысе, и сопровождал с наступлением морозов по трехсоткилометровому зимнику. Отдельные «детали» весили по нескольку десятков тонн. Сооружали для них специальные сани, в «упряжку» ставили штук пять тракторов К-700 и волокли через тундру и перевалы по двое-трое суток. Помнит, однажды встречная машина задела и пробила трансформатор с маслом. Водитель скинул с ноги валенок, пробоину заткнул... Когда с поставкой оборудования закончили, перешел Букин в технологическую группу, поехал стажироваться на работающую Белоярскую АЭС — пора было из строителя превращаться в эксплуатационника... Затем наладка и пуск, и бронзовая медаль ВДНХ «за непосредственное участие в строительно-монтажных работах на реакторной установке БАЭС». Уже десять лет как в Билибино. Здесь и семья. Жена — врач, две дочки. Двое бабушек с материка совершают «челночные операции», приезжают по очереди нянчить внучат...

...Я не сказал — не все еще строители ушли с «атомки». В дальнем конце реакторного зала заканчивался монтаж четвертого блока. Мы подошли в тот момент,

когда в одно из отверстий в графитовой кладке очень медленно опускали стержень. Так же медленно его поднимали и опускали в следующее отверстие — всего их было более трехсот. Это был пока лишь макет рабочего канала, а настоящие каналы, уже привезенные, висели вдоль стены в реакторном зале... Соответственно выглядел и второй щит управления: одна его половина действовала, а на другой сквозили незакрытые приборами гнезда, виднелась великая путаница неподсоединенных проводов. Пуск четвертого, последнего реактора был назначен на конец года... Я еще долго ходил по станции, по ее цехам и многочисленным лабораториям, и тут она уже больше походила на обычное предприятие: в одном месте гудело, в другом вращалось, в третьем потрескивало и воздух был насыщен озоном. В коридорах, как положено, висели доски почета, стенгазеты, соцобязательства. На стенде с общим заголовком «Информация к размышлению» приколоты были записка: «Кто хочет иметь значок БАЭС (Палех), сдавайте 10 рэ». А в одном из цехов увидел я вдруг «старателя», которого несколько дней назад мысленно и столь решительно надела фанерным чемоданом. Он оказался инженером с «атомки»...

Выходя из «зоны», мы с Владимиром Кузьмичом ограничили себя тем, что помыли руки (постоянно работающие принимают душ), потом по очереди ступили на площадку СУ — сигнального устройства. «В случае «грязи» на одежде — не пропустит», — сказал Абалакин. Перед моими глазами возникло световое табло, поделенное на квадратики, в каждом из которых было написано: «грудь», «правая рука», «левая рука», «живот» и т. д., — и я поймал себя на странном, граничащем с желанием ожидании, чтобы какой-нибудь квадратик вспыхнул: посмотреть, как действует. Однако ничто не осветилось,

аппарат после короткого раздумья щелкнул, и металлическая калиточка выпустила меня... Помню, я вышел под театральный навес, сел в автобус, увозящий в поселок отработавшую смену, и уехал со станции без каких-либо раздумий, за отсутствием которых крылось твердое сознание закономерности, даже обычности того, что здесь, вписавшись в чукотский пейзаж, стоит и работает дом, начиненный атомной энергией. И будничность разговоров, которые велись вокруг в автобусе, словно поддерживала меня в этом убеждении. Лишь через несколько дней, когда я очутился уже далеко от Билибино, на молодом прииске, в маленьком поселке геологов и горняков, в знакомой обстановке палаток и времянок, в шахте, среди грохота перфораторов и взрывов, я вспомнил вдруг загадочную тишину реакторного зала, пульт, весь этот большой дом посреди тундры с его обитателями в белых одеждах, и вновь он представился мне необыкновенным, непостижимым.

### 3

...Зимник, чувствовалось, поработал. Это была уже не та идеальная дорога, что становится с первыми снегами и холодами, гладкая, без выбоинки, с белыми отвалами сугробов по сторонам. Начиная с ноября не одну сотню тысяч тонн груза перевезли по ней, так что, естественно, подразбили... Я сказал — чувствовалось, потому что самого зимника мы не видели, не могли видеть: пока собирались, пока останавливались возле магазинов, закупая в дорогу провизию, наступил вечер, и из Билибино мы выехали в темноте. Тяжелые, большие машины, конечно, были менее чувствительны к этим ухабам, но наш бедный «газик» ощутимо подлетал на каждой ямке, а внутри него еще ощутимее подлетали



мы. Главное же, невозможно было предугадать, в какой момент, в какую сторону, с какой силой и сколько раз тебя бросит, поэтому сидеть приходилось в постоянной готовности: сшибаться с соседом, оказываясь на нем или, наоборот, под ним, взвиваться к потолку кабины или вылетать головой вперед, к шоферу. Инстинкт самосохранения очень быстро подсказал, что во время толчка тело должно быть предельно собрано воедино и лететь в едином направлении, никак нельзя было допускать, чтобы что-нибудь вычленилось — руки, ноги, особенно голова — и дергалось отдельно, в самостоятельную сторону... Кстати, я вовсе не стремлюсь, чтобы все это было воспринято как традиционный для путешественников шуточный пересказ миновавших дорожных невзгод — я действительно уверяю читателя, что такая езда дело серьезное, требующее немало напряжения и физических и душевных сил.

Да и шофер наш, Валера Агафонов, гнал машину, почти не переключая скорости, без всякого сострадания к пассажирам. Поездку организовал райком комсомола, он же задал жесткий график движения. Почему-то именно в три дня надо было объехать отдаленные углы района и сфотографировать комсомольцев для новых билетов. С этой целью ехала молодая женщина из райкома, Наташа, и фотокорреспондент местной газеты Коля Ткачев. Остальные, вроде меня, были просто попутчики. Мне, например, нужно было на Дальний. То и Дело, живя в Билибино, я слышал о Дальнем. Еще в музее у Глазырина заприметил я фотографию, где на свежем, рыхлом снегу прутиком или пальцем было выписано это название — Дальний. Так он начинался. Ребята в гостинице, знакомясь и называя себя, непременно добавляли — если, конечно, имели на то право: «С Дальнего...» Мой давний друг билибинский журналист Валя

Колясников в своих статьях определял Дальний не иначе как «самой горячей точкой района». О Дальнем говорили даже больше, чем об «атомке» — к «атомке» как-то привыкли. Секретарь Билибинского райкома партии Лысковцев, рассказывая о перспективах района, в первую очередь упомянул Дальний. И не только о перспективах, но и о весьма реальных итогах: «за достижение наиболее высоких показателей в выполнении девятого пятилетнего плана» Билибинский горно-обогачительный комбинат объединения «Северовостокзолото» был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР... Короче говоря, сидели мы однажды на квартире у Колясникова, он подошел к висящей на стене карте района, зацепился взглядом за отмеченные уже поселки, проследил разветвления речек и ручьев и показал: «Примерно здесь». Получилось и в самом деле — Дальний... Тогда же возникла идея совместной поездки. Близилась весна. Валентину нужно было писать о подготовке к промывочному сезону. Конечно, проще и быстрее всего было лететь на Дальний вертолетом, но я хотел посмотреть зимник, ощутить, так сказать, «прелесть дороги». И вот я ехал. Ну а Колясников, проработавший в Билибино с десятков лет, сначала литсотрудником районной «Золотой Чукотки», теперь собкором окружной «Советской Чукотки», прелестями чукотских дорог был, разумеется, сыт. Он обещал прилететь через несколько дней...

...Спустя четыре часа, где-то за полночь въехали в Погындено. Этот маленький поселочек, как раз на полпути от Билибино к Зеленому Мысу, является чем-то вроде промежуточной базы для шоферов, работающих на зимнике. Здесь для них есть гостиница, круглосуточ-

ная столовая, теплый гараж, заправочная станция, ремонтные мастерские... Еще на подъезде сюда самоотверженная Наташа заикнулась было, чтобы в Погындено только перекусить и спешить дальше, но оказалась в удручающем меньшинстве при воздержавшемся Валере Агафонове. Сошлись на том, чтобы в шесть утра встать и в семь ехать... Мороз чувствовался ночной, градусов сорок пять, и было северное сияние. В отупевшем от долгой тряски воображении эта волнистая, мерцающая, то и дело изгибающаяся лента могла отождествиться лишь с одним: с каким-то небесным зимником, который в своем бесконечном колыпании был ничуть не идеальнее земного... Пока ходили мы по темному спящему поселку в поисках столовой, а потом гостиницы, нас неотступно сопровождали две заиндевелившие гривастые якутские лошадки, соскучившиеся, видно, в темноте и одиночестве. В гостинице нам сразу у порога было велено снять наши унты и надеть тапочки. Здесь имелся душ, жаркие сушилки для рабочей одежды, в комнатах было тепло. Уже по одному этому уюту и сервису можно было судить, что такое зимник для шофера и сколько значит он для Билибино...

...Наутро, отъезжая, я успел разглядеть сквозь окошко кабины в предрассветных сумерках силуэт черта с вилами, который чья-то веселая рука укрепила на трубе котельной. Силуэт то закрывался целиком черными клубами дыма, то проглядывал очень отчетливо на фоне тонкой розовой полоски зари, и создавалось впечатление, что черт в самом деле то проваливался, то опять выскакивал из своей преисподней... Машина выехала из поселка на дорогу, и вновь ни о каком «любоваться окрестностями», «предаваться воспоминаниям» или просто «дремать» нечего стало и думать. Мрачный, неразговорчивый Валера гнал и гнал. Однако за ночь мы

отдохнули, силы у нас были. Кто-то, явно не без умысла, стал рассказывать историю, как два райкомовских работника, оказавшись вот в такой же длительной поездке, на четвертый день изобрели: сделали из шарфов широкие петли, прикрепили к потолку кабины и положили в них свои пострадавшие головы. Они наслаждались, закрыв глаза — все вокруг прыгало и тряслось, а головы их как бы плавали в блаженной невесомости и отдыхали затекшие от постоянного напряжения шеи. Зато оглянувшийся случайно шофер испугался в первый момент до смерти: «Батюшки! Пассажиры-то... висят! Не вынесли!» История была непридуманная, назывались даже имена этих людей, и я их знал. «Ну наш-то Валера не испугается,— сказал я.— Наш скажет: слава богу! Наконец-то!» Тут Валера, кажется, впервые за дорогу улыбнулся... И зимник стал лучше, целее: мы свернули с основной трассы влево, на Анюйск. Совсем перестали попадаться навстречу машины: трехосные «Уральцы», «Татры», экзотические оранжевые «Магирусы» и огромные тракторы К-700, водителей которых на зимнике ни шоферами, ни трактористами не называют, так уважительно и зовут — «ка-семьсотчики»... Мы поднимались все в гору и в гору, и вдруг Валера, по обыкновению ни слова не сказав, остановился. Переглянувшись, мы нерешительно вышли из машины. Мы стояли на самом верху сопки, на перевале. Дальше дорога уходила вниз, и там, далеко впереди, меж горами открывалась широкая долина — укрытая сейчас снегом пойма Малого Анюя. Самое же удивительное было тут, вокруг. По сторонам дороги не сплошь, а в отдалении друг от друга росли деревья, невысокие чукотские лиственницы. Но ни стволов, ни веток почти не было видно — казалось, что это ажурные, с проемами, с причудливыми просветами снежные башни. Сияло солнце, и снег середины мар-

та выглядел как в наших материковских лесах где-нибудь в январе: пышный, взбитый, сухой, ослепительный... Коля Ткачев тут же принялся щелкать.

Потом ехали еще долго, миновали старое село Анюйск, пошла кругом низкая, болотистого вида равнина с чахлыми кустиками, с деревцами, напоминающими сухие голые жерди, на которых забыли обрубить один-два сучка. На языке науки это называется образно и точно — угнетенное редколесье... Иногда нагоняли и долго не могли обогнать по узкой дороге лесовоз, на нем лежал листвяк явно нездешней мощи. Это везли крепезный лес, это был признак приближающегося Дальнего. К середине дня, наконец, доехали. Спутники мои, наскоро отобедав, погрузились опять в машину — они хотели сегодня же добраться до прииска Мандрикова, им предстояло еще часа четыре тряски. «А то поедем, — не то в шутку, не то всерьез пригласили они. — Посмотришь Мандриково...» — и я в какой-то миг созерцал в себе действительное желание: сесть и ехать. «Под вечер мы привыкли к ней» — так, кажется, написал Пушкин о «телеге жизни»... Помню, что под желанием этим была еще некая растерянность, я вдруг ощутил себя так, как много лет назад, в юности, в Братске. Я приехал в Братск с большим тяжелым чемоданом, набитым сплошь книгами, и рюкзаком с кое-каким барахлом. Деть их было некуда, и я оставил все это в лесу, в уцелевшем клочке тайги между Зеленым городком и Постоянным. Потом целый день ходил по поселку, переезжал на другую сторону Ангары, бродил по котловану... Вечером я вернулся к своим вещам и тут же, на склоне сопки, под деревьями заночевал, завернувшись, сколько возможно было, в телогрейку. Проснулся на рассвете от пронзившего меня насквозь дикого холода, стал бегать, чтобы согреться, выскочил к обрыву, и мне

открылась Ангара со стометровой высоты. Широкая гладь реки вдалеке дробилась, расчесывалась, как гребнем, Падунскими порогами на отдельные струи, потом они вновь соединялись и плавно текли дальше, к котловану, где будто чья-то рука сбирала, сжимала их в тесную горсть и тщетно пыталась переплести друг с другом эти тугие, неуловимые, бьющиеся пенные струи... Я сверху смотрел на все это с твердым и радостным убеждением, что буду здесь жить и работать. Очнувшись, я выволок свои вещи к дороге. Мимо меня в ту и другую сторону пронеслись самосвалы, проезжали автобусы, народ ехал на работу, а я снова стоял в каком-то оцепенении, не зная, куда податься, к кому обратиться, не решаясь поднять руку. Наконец какой-то МАЗ, летящий с горы, сам затормозил возле меня, и шофер, еще на ходу открывая дверцу и ни о чем не спрашивая, крикнул: «Чего стоишь? Давай быстрее!»... Да, и вот сейчас, по приезде на Дальний, неизвестно откуда возникло во мне в первый момент это наваждение двадцатилетней давности, но длилось, правда, недолго: минут десять спустя рослый человек в горняцкой каске поверх шапки, один из здешних бригадиров, Леонид Мельник уже вел меня от конторы к своему дому. «Здесь сплю я, здесь один товарищ из моей бригады. Та койка — твоя... Вот печка, вот дрова... Чайник, заварка, — показал он и, прибавив: — Ну до вечера!» — исчез. Я скинул полушубок, раскочегарил железную печку, вышел на крыльцо и понял, отчего вспомнил Братск: здесь так же вокруг домов валялись кора и стружки, во всем поселке стоял такой же запах свежей, непросохшей древесины, легкого горьковатого дыма от смолистых поленьев, и было особенное ощущение н а ч а л а...

Вообще-то, если подходить к делу профессионально, нужно жить на Дальнем год, и два, и три, вкалывать на «подземке» и писать о нем роман. Что же сказать о Дальнем на немногих страницах, отведенных для очерка? Действительно, вот так геологи только оконтуривают, очерчивают открытое месторождение и подсчитывают запасы, а вся работа по извлечению и промывке песков — впереди...

...На домике, в котором размещалась нарядная шахты № 61, висело необходимое количество плакатов и лозунгов, один из них извещал: «С января 1974 года объект «Дальний» осваивает коллектив коммунистического труда, руководимый депутатом Верховного Совета РСФСР Н. Чуевым». Другой был краток: «Спасибо за ударный труд!» Что это не формальная благодарность, я понял сразу же. На шахте, был пересменок, во время которого проводили собрание. Со Встречного прилетели секретарь парткома прииска Алексей Игнатович Калинин и секретарь комсомольской организации Галя Бельчева. «Парторг появился — промывка близко», — пошутил кто-то. Однако сейчас причина была в другом. Бригаде, как победительнице в социалистическом соревновании, вручали переходящее знамя ветеранов труда области. Целую группу ребят (бригада комсомольско-моладешная) наградили значками лауреатов премии Магаданского обкома комсомола. На премиальные деньги тут же решили купить книги для клубной библиотеки. Деньги эти сразу отдали одному из лауреатов, Илье Дорошенко, который по делам вскоре уезжал в Магадан. «Пусть он магазин не перепутает...», «А пиво будет?!» — сыпались шутки. Еще разъяснили, что если бригада удержит знамя в течение двух лет, то оно останется в бригаде навсегда. «Однако куда оно денется? Конечно, останется!» — заверил кто-то. В ногах у собрав-

шихся вертелся симпатичный и, видно, сообразительный пес — когда аплодировали, он лаял...

...Я надел каску, как ее тут носят — на шапку, завязав тесемки сверху, опоясался ремнем с аккумулятором, прицепил к каске фонарь, и со сменным горным мастером Сабитовым мы полезли в шахту. Анвару Шакировичу лет пятьдесят. Родом из Башкирии. У него седые волосы, приятное интеллигентное лицо, доброжелательная речь. Накануне мы с ним допоздна сидели за крепким чаем: Сабитов рассказывал о шахте, о здешней жизни, ну и о себе, конечно. Родился в семье сельского учителя. Едва успел кончить десятилетку — война. Учился в военно-пехотном училище, сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, Буг, Вислу, брал Берлин, освобождал Прагу. На фронте вступил в партию. Семь боевых орденов и восемь медалей... На Колыме с 49-го года, на Чукотке с 67-го. Здесь, на Севере, родились и выросли дети: сын сейчас в армии, старшая дочь в Магадане, учится в пединституте, и еще три дочери-школьницы с матерью на Встречном... Интересуется Анвар Шакирович литературой, посещал когда-то, еще на Ягодном, литературный кружок и до сих пор пишет — рассказы и очерки для газеты, иногда стихи. Задумана у него книга: «Рождение прииска»...

Мы шли в полутьме штольни, навстречу нам по движущемуся резиновому желобу струилась наверх порода. Возле лебедок работали скреперисты, уходил внутрь камеры, волочась на тросе, и возвращался с песками железный ящик-скребок, висели предупреждения: «Берегись троса!»... Некоторые камеры были уже отработаны, как здесь говорят, «сактированы». Входы в них были закрежены досками, завешены руберойдом. Мы сворачивали и сюда, продвигались в совершенной темноте, если не считать наших фонарей, и попадали в дру-

гой штрек. Шахту Сабитов, видимо, знал, как свою ладонь. Иногда сверху через круглое небольшое отверстие сквозил тусклый свет зимнего дня — здесь была вентиляционная скважина. Кровля шахты в этом месте поднималась к отверстию широким сужающимся конусом. Я понял, что такой конус специально выдалбливают, чтобы вентиляция была лучше, но Сабитов объяснил, что все делается гораздо проще. В пробуренную скважину опускают трос, на нем снизу, под кровлей, подвешивают бочку с соляжкой и поджигают. Промерзшая земля постепенно оттаивает и сама осыпается. Бочку, висящую и пылающую в темноте подземелья, горняки окрестили не без остроумия — «Аполлон»...

Еще в Билибино, перед поездкой на Дальний, я встречался с геологами, которые работали здесь, в частности с Владимиром Ивановичем Теплых и с Аркадием Григорьевичем Сенотрусовым, возглавлявшими поисковые партии, — и от них знал, что мы ходим сейчас по дну реки, протекавшей 30 000 лет назад. За это время река превратилась в ручей, обмелела, новое русло ее сместилось, а прежнее вовсе исчезло на сгладившейся долине, так что выявить такое древнее речное ложе, где залегают золотоносные пески, было на первых порах совсем не просто. Погребенная россыпь — так называют теперь геологи подобное месторождение. И хотя они уверяли, что открытие Дальнего носит скорее научный характер, нежели романтический, что «наличие геологической ситуации... тектонической обстановки... интрузивного магматического комплекса, сходных с... позволяло, пользуясь методом аналогии, прогнозировать... и т. д.», померещились мне все-таки в их речах отзвуки пережитой и воскресшей в памяти радости.

Защищать месторождение ездил в Магадан Сенот-

русов. «Обычно как, — сказал он. — У нас в экспедиции ставят «четыре», а в Магадане — «три». А в тот раз после нашей «четверки» Магадан оценил на «пять»!»... И вот сейчас, в основании обкромсанных взрывами стен шахтных камер, над самыми коренными породами я видел неширокую темную полосу — спрессовавшийся древний речной ил. А сверху шла ничем не примечательная на вид сероватая мерзлая земля. Иногда она посверкивала в лучах наших фонарей, не золотом, конечно, — льдом. Но это и были «золотоносные пески»...

Как же их добывают? В принципе, казалось бы, процесс несложный и полностью механизированный: бурильщики перфораторами пробуривают в стенах камер отверстия, взрывники закладывают в эти отверстия аммонит и взрывами отбивают горную массу (на языке горняков это называется «палить камеру»), затем порода скреперуется на центральную рассечку, на рудный двор, в бункер и по ленточному конвейеру — «на-гора». Здесь пески разваловываются бульдозерами и ждут промывки. Но сколько при этом опыта требуется от горняков, какое виртуозное владение всей этой техникой: перфораторами, скреперами, электробульдозерами, бульдозерами! Помимо этого, в бригаде идет постоянный поиск — как, например, лучше, рациональнее спланировать шахтное поле, чтобы с той же площади взять наибольший объем песков, чтобы производительнее использовался конвейер... Поднятая наверх порода тоже не просто сгребается в кучу: конфигурация отвала продумана так, чтобы к началу промывки пески уже оттаяли и можно было удобнее и скорее подавать их на промприбор... В первое время своего существования Дальний особенно страдал от нехватки электроэнергии. В бригаде Николая Чуева нашли выход: сняли со скреперных лебедок электромоторы, поставили дизели.

То же проделали и на транспортере. В итоге — электричества не было, а техника работала, не простаивала, и производительность не падала... А сколько приходится думать об экономии! Ведь снабжать-то Дальний еще сложнее, чем Билибино, здесь каждая доска, каждый метр троса, крепежного леса на учете, не говоря уж о буровых коронках, о запчастях, о киловатт-часах. Здесь каждая вышедшая из строя деталь еще раз десять вновь доведется до ума и согдится в дело. И почти полтора рабочих дня ежемесячно чуевцы работают на сэкономленных материалах... Вот об этом и о многих других вещах, связанных с организацией процесса труда, в бригаде и думают, и говорят, и беспокоятся. А о конечном результате процесса, о самом золоте как-то не говорят. Ну помянут иногда: «металл»...

Мы долго ходили с Сабитовым по шахте, видели, как бурят, как взрывают, скреперуют, и, когда я потерял всякую ориентировку, вышли на поверхность в том самом месте, где спустились. Сабитов показал на маленький теплячок среди долины, находившийся на порядочном расстоянии: «Там, под ним были...» С высоко поднятого ленточного конвейера сыпалась и сыпалась земля к громоздившемуся отвалу.

Мы пошли к поселку. Навстречу дул легкий ветерок, и при сорокаградусном морозе этого было достаточно, чтобы леденело лицо, быстро нарастал иней на шапке и отворотах полушубка. Над площадкой недалеко от шахты стрекотал большой вертолет МИ-8, к нему была подвешена сверкающая цилиндрическая емкость. Вертолет приспустился, цистерна осторожно легла на снег. Ее отцепили, и освобожденная машина, не приземляясь, взмыла и удалилась.

— Шакирович! — окликнули Сабитова в поселке. — Завтра домой, на Встречный лечу. Что жене передать?!

— Передай, чтоб тапочки домашние прислала, — сказал Сабитов...

Тут надо упомянуть, что формально Дальний именуется «участком» или «объектом» — пока. Осваивают его так называемым «экспедиционным» способом. С двух приисков — «45 лет ВЛКСМ» и карьера имени Билибина — направлены сюда несколько лучших бригад. На вопрос «Какая бригада у вас самая передовая?» на Дальнем с неизменной серьезностью отвечают: «У нас все — передовые. Отстающих нет». Каковы в данном случае критерии «лучшей» бригады? Стабильный, давно сработавшийся коллектив. Большой опыт работы на «подземке». Высокая квалификация рабочих, причем каждый владеет несколькими необходимыми горняку специальностями. Разумеется, дисциплина. И что, конечно, немаловажно — мобильность бригады, то есть готовность и умение начинать с «кола» и продолжительно трудиться в условиях «поля»... Километрах в сорока от Билибино находится поселок прииска «45 лет ВЛКСМ» — Встречный. В последнее время в шутку, а очень может быть, что и всерьез, его стали называть «Городом тысячи женщин», потому что «тысяча мужчин» со Встречного уехала. Около месяца горняки живут и работают без выходных на Дальнем, стараясь не только выдать месячный план, но и сделать «задел» на будущее. Затем на вертолетах их отвозят на Встречный, где у них благоустроенные квартиры, где ждут семьи и домашний уют. Пустеет, замирает Дальний. Через несколько дней с утра опять налетают вертолеты, высаживают «тысячу мужчин», и поселок вновь оживает. Таков ритм Дальнего. Это и есть «экспедиционный способ». И так — в течение нескольких лет...

Начался Дальний, как водится, с палаток, и «пала-

точный период» здесь еще не кончился. Длинные, армейского образца, брезентовые домики вытянулись в ряд на склоне сопки, а вокруг — беспорядочная россыпь свежесрубленных, деревянных. Строить самим себе жильё дальнецам официально разрешили недавно, и теперь в поселке около двухсот домов. Самая простейшая разновидность такой постройки — передвижной тепляк на санях. Называют его — «бунгал», отбросив лишнее, пригодное, может быть, в тропиках и под пальмами, а на Севере совершенно неуместное «о». Никаких улиц, в строгом смысле этого слова, и тем более нумерации домов на Дальнем пока нет, поэтому домики ставят на любом свободном месте, кому где понравится. Идешь по поселку, смотришь — бульдозер сдвигает на сторону сугроб. Через час проходишь снова — «бунгал» уже стоит, и от ближайшего столба тянут к нему провода. Потом появится в «бунгале» печка, нехитрая самодельная мебель, и — может приехать жена... Или сделали его для себя два-три закадычных друга, теперь переберутся из общей палатки на десять-пятнадцать человек, где один со смены пришел, спать хочет, а другой — частушки по приемнику слушать, и будет у них маленькая согласная коммуна... Как только не называли на новостройках поселки, возникшие таким образом! В Братске, помню, была «Индия» — от «индивидуального застроя». Так кондуктор в автобусе и объявлял: «Следующая — Индия!»... Еще «Нахаловка», то есть образовавшаяся «по нахалке», когда не разрешали строить. Еще «хап-строй», потому что всякий брошенный обрзок доски или бревна, кусок железа или рубероида человек прибирал — ему согдится. Но он же не дворец себе отгрохал — времянку слепил! Он бы и рад, чтобы ему готовую квартиру со всеми удобствами дали, но ведь это ждать сколько!..

Уникален ли в этом смысле поселок Дальний для Севера? Конечно, нет. Еще в 1969 году, за несколько лет до возникновения Дальнего, в Магадане вышла книга «Человек и Север», написанная сотрудником Магаданского Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института В. Яновским. Книга очень своеобразная: патетические слова в адрес Севера перемежаются в ней с данными статистики, лирическое авторское отступление вдруг заключается сухой рационалистической мыслью, а за всем этим чувствуются давняя неизлечимая любовь северянина к своему краю и беспокойная забота о тех, кто его осваивает и будет осваивать впредь. В этом исследовании есть немало строк, которые можно и сейчас отнести непосредственно к Дальнему. Вот, например: «В наиболее неблагоприятном положении оказываются на Северо-Востоке небольшие по численности жителей поселки приисковых горных участков. Эти «промышленные десанты» берут на свои плечи самый тяжелый труд и удерживают позиции не на день-два или неделю, а год, другой, третий... Как аванпосты наступления, они выдвинуты далеко вперед и нередко отделены от приискового поселка ста — ста пятьюдесятью километрами полного бездорожья, а от районного центра и всеми пятьюстами километрами...» Интересно, что в этой же книге приводятся перечни объектов культурно-бытового обслуживания для подобных поселков с различной численностью населения, разработанные в свое время в СВКНИИ с учетом современных требований демографии и социологии. Вот подходящий как раз для Дальнего по количеству жителей комплекс — Н-1000. Здесь предполагается Дом культуры с комнатами для кружков, библиотекой в 10—15 тысяч томов, зрительным залом на 200—250 мест, Спортивный комплекс с плавательным

бассейном, крытая зимняя площадка, зимний сад! Затем прачечная, всевозможные ателье, мастерские, химчистка, парикмахерская, столовая-кафе с отделениями кулинарии и полуфабрикатов, магазины и т. д. Что есть на Дальнем? Есть клуб в палатке, вернее, даже два: своя палатка у билибинцев и своя на «45 лет ВЛКСМ». На двери столовой обычно висят две афиши: сегодня, положим, у билибинцев «Нейлон-100%», а на «45 лет ВЛКСМ» — «Звезды не гаснут». Назавтра — наоборот. Хорошая половина зрителей в такой палатке во время сеанса стоит... Есть одна столовая, в которой горняки по часу-полтора простаивают в очереди. Крохотный магазинчик с набором консервированных компотов — продуктами Дальний снабжается так же трудно, как оборудованием. Есть баня, где часто нет холодной воды — воду на Дальний доставляют водовозками с реки за сорок километров, и львиную долю ее забирает дизельная электростанция. Идет горняк в баню, несет с собой таз со снегом. Вот, пожалуй, и все...

Позже, когда я вернулся в Билибино и поделился с Лысковцевым своими впечатлениями о Дальнем (впрочем, он и без меня все это хорошо знал), секретарь райкома просто сказал: «Если ждать, пока все будет построено, плана не дали бы... Мы мечтаем о том времени, — добавил Валентин Васильевич, — когда на вновь открытое месторождение нам сразу выдадут генпроект горняцкого поселка, в котором все было бы предусмотрено. Чтобы мы могли быстро поставить жилье, магазины и прочее, а потом пригласить горняка и сказать ему: «Вот твой дом, вот детский сад и школа для твоих детей, иди и спокойно работай». Чтоб были легкие и надежные домики, которые можно было бы забросить вертолетом, и несколько комплексов таких мобильных поселков — для разных месторождений...» Помню, мы

еще пошутили грустновато, что все это, наверное, тогда будет, когда и «металл» никому не понадобится... Однако, уже прилетев в Москву и засев за этот очерк, отыскал я в своем архиве (как человек, пристрастно относящийся к Северу, я собираю самые разнообразные сведения о нем) опубликованное несколько лет назад в журнале «Новое время» интервью с заместителем Председателя Совета Министров СССР, председателем Госстроя СССР И. Т. Новиковым, возглавлявшим одну из советских делегаций в Канаду. На вопрос корреспондента: «Вы упомянули, что в Канаде есть немало такого, что можно было бы позаимствовать. На что вы, в частности, обратили внимание?» — И. Т. Новиков ответил: «В Канаде, как и в нашей стране, много леса, и канадцы строят немало деревянных домов и строят хорошо. Мы ознакомились, например, с фирмой АТКО. Она изготавливает заводским способом передвижные дома из дерева и легких заполнителей. В основе своей — это блоки, которые можно использовать как жилые дома для одной семьи, причем фирма снабжает их всем необходимым для благоустройства. Из таких блоков можно также собирать здания любой протяженности и ширины для школ, контор, детских учреждений и так далее... Такие здания, недорогие и удобные, могут даже в суровых условиях Севера эксплуатироваться в течение 10—15 лет. Блоки весом от 1300 до 2000 килограммов без всяких затруднений доставляются в законченном виде по железной дороге, водным или автомобильным транспортом, а в отдаленные места — вертолетами или самолетами». А из той же книги В. Яновского узнал я, что и у нас в стране уже существуют предложения по проектированию «серии типовых приисковых комплексов». Следовательно, не такая уж это, оказывается, невозможная вещь, чтобы о ней нужно было мечтать!



И тут, конечно, можно было бы пуститься в долгие и правильные рассуждения о том, «как хорошо было бы, если...» и т. д. Однако я всегда при этом вспоминаю увиденную реальную жизнь и реальных людей. Как, не дожидаясь, пока кто-то где-то спохватится и сделает для них, строят они себе «бунгалы», привозят со Встречного подписка была на Пушкина, возле книжного магазина всю ночь костры жгли), привозят целые подшивки газет и журналов, транзисторные приемники и магнитофоны. А строители между тем заканчивают детский сад и школу, начали два больших жилых дома. И потихоньку налаживается быт на Дальнем... Вспоминаю «лесных братьев», ребят из бригады Чуева — Геннадия Сливаева, Бориса Лосева и Геннадия Жукова. «Лесными братьями» дальненцы прозвали их потому, что они себе дом в лесу поставили, в стороне от поселка. Вокруг дома стаи белых куропаток с дерева на дерево перелетают. Чем не «зимний сад»? Все трое — бурильщики, взрывники, скреперисты. «Какая работа на шахте самая легкая?» — наивно спросил я, и коренастый светлоусый Жуков ответил за всех: «Самая легкая — это лечь на койку и читать газету».

Улетев, я мысленно и с какой-то грустью проследил свой путь над заснеженными сопками, деревца на которых напоминают сверху редкую и тонкую штриховку, и — оказался опять на Дальнем. Ведь уже с половиной поселка начинаешь здороваться, и в столовой, в списке, кому поступили телеграммы, отыскиваешь свою фамилию, и бурильщик Вася Шодьгов, венгр из Закарпатья, на день рождения пригласил, и за обедом есть с кем перекинуться парой слов, в духе того лихого, бесшабашного юмора, какого ни от кого, кроме северянина, не услышишь. «Говорят, японцы

часы изобрели с ультразвуком, комаров отпугивать!» — «Ну это, может, их, японского, комара отпугнешь, а нашего, чукотского, ничем не отпугнешь. Наш умрет, а сядет!..» И все чаще по вечерам заводишь с Леной Мельником разговор, чтоб поступить к нему в бригаду, и он согласен: «А что?! Давай! На первых порах возьму помощником скрепериста...» И вот тут вспоминаешь, что надо еще на другой конец Чукотки, и чувствуешь, что пора... Расстаешься с Дальним и с этого момента начинаешь вспоминать всех этих людей и многих других, о которых просто упомянуть — недостаточно, а чтоб рассказать подробно — повторяю, надо писать книгу. И раз обо всех невозможно, тогда в заключение хотя бы несколько слов о пекарихе Вере Владимировне Потапенко, одной из немногих женщин в «Городе тысячи мужчин». На Дальнем она тоже с первой палатки. Никакой пекарни, конечно, не было, а хлеб нужен. Сложили сразу русскую печь, двадцать пять булок в нее садилось, потом начали ставить кругом стены. Днем плотники свое дело делали, а ночью Вера Владимировна приходила, пекла под открытым чукотским небом... Ну а сейчас пекарня сразу полтонны выдает, и должен сказать, что такой вкусный хлеб я редко где пробовал... Вот потому-то и не пускаюсь я в помянутые мной «правильные» рассуждения типа: «Как хорошо могло бы быть, если...» Удерживают меня воспоминания о Дальнем да изречение одного великого философа: «Жизнь борется и работает, добродетель стоит праздно и говорит».

*Февраль — март 1976 года*

## КОСА, НА КОТОРОЙ СТОИТ УЭЛЕН...

1

Кто из нас не помнит школьную географическую карту нашей страны с постепенно редующими к востоку кружочками городов и самый последний одинокий кружочек в конце Чукотского полуострова и прежде, через два «л», написание: Уэлен. Виделся он тогда привычным взору, большим и в то же время необыкновенным городом — в снегах, с яркими огнями, просвечивающими сквозь постоянную метель, с веревками, натянутыми вдоль улиц, чтоб не заблудиться... Многим, наверное, он и до сих пор таким кажется: часто, например, приходят чукотским ребятам письма с адресом «город Уэлен» и номером школы, скорее всего своей — ученик 101-й московской желает переписываться непременно с учеником 101-й уэленской, — а Уэлен-то при знакомстве с ним оказывается маленьким поселочком с одной недлинной улицей без всяких веревочек и с одной школой.

И еще узнаешь: расположен он не на самой оконечности мыса Дежнева — до крайней восточной точки страны от поселка еще километров двадцать. Я не раз ходил туда и очень любил эту дорогу, вернее, путь, потому что никакой дороги, даже тропинки малой там

нет. Сразу за поселком начинается сопка, по склону которой поднимаешься долго, часа два, и долго, оборотясь, можешь видеть Уэлен, стоящий на узкой галечной косе, в окружении лагуны и моря. Постепенно скрываются домики, ближайšie к сопке, остается только полярная станция в дальнем конце поселка, но вот и она пропадает. За сопкой обнаруживаются распадок и крутая стена другой, еще более высокой горы — ее можно обойти, но и велик соблазн подняться. Кочковатый, зеленый, как и лежащая внизу тундра, местами сочащийся водой склон перемежается черными осыпями громадных камней, глубоко между ними виднеется иногда лед, который до зимы, наверное, и не растает. К концу подъема уже порядочно устаешь, однако не останавливаешься, не отдыхаешь, не смотришь по сторонам, чтобы сделать это не торопясь, как следует, на самой вершине. Увенчивают ее кекуры, останцы, каменные столбы, подобные башням древней крепости, уцелевшим под соединенным натиском солнца, дождя, мороза, ветра. Вот сюда, на самую высшую точку мыса Дежнева, ради открывающегося с нее вида ты и стремишься.

«А через тот Камень ходу день; а как на него человек взойдет, и он оба моря видит: Ленское и Амурское», — говорится в пояснениях к старинной карте. Оба моря, то есть оба океана — Северный Ледовитый и Тихий. И не только два океана — к западу простирается слегка всхолмленная равнина тундры, замыкающаяся далеко на горизонте цепью гор. Тундра поблескивает множеством ручьев и речек, сверху они напоминают нарисованные детской рукой деревья с ветвями, отягощенными плодами озер. Впереди же, на востоке, между двумя понижающимися сопками, словно в кубке прозрачном, светится ярко-синий треугольник Берингова пролива. И в ясную летнюю ночь, при невысоком

пооставшем солнце, когда не струится от земли, не дрожит и не размывает даль нагретый воздух и все предметы видятся особенно отчетливо и выпукло, еще дальше можно различить такие же, как и вокруг тебя, горы с остатками снега — окончность другого материка, мыс Принца Уэльского, Аляску... С этой сопки не торопиться уходить: внезапно очень хорошо представляешь себе весь лежащий за твоей спиной материк, потом и другой, напротив, и вот уже не два океана и два материка, но разом созерцаешь всю Землю, чувствуя, что не просто на вершине стоишь, а на одной из немногих, самых примечательных вершин мира.

Отсюда до «крайней точки» еще два, два с половиной часа ходу. Пересекаешь небольшую глубокую долину, поднимаешься на последний перевал, и открываешься перед тобой каменные обрывы мыса Дежнева и вся ширь Берингова пролива с высоким скалистым островом посередине. «А против того Носу есть два острова...» — писал Дежнев в своей отписке. Да, их два, Большой Диомид, он же остров Ратманова, и Малый Диомид, или остров Крузенштерна, но отсюда, с берега, хорошо виден только Большой, Малый же самым краешком выглядывает из-за него, так что если не знаешь, что он есть, то и не отличишь на таком расстоянии. Снежные вершины Аляски по-прежнему видны чуть левее островов, и ловишь себя на мысли, что Дежнев тоже поднялся на этот берег, не мог не подняться, а следовательно, обязательно заметил бы Новую Землю — «чаятельной берег Северной Америки», как надписал позже М. Ломоносов на своей карте, — когда бы оказался в проливе в разгар лета, в такие вот редкие и недолгие погожие дни. Но он только в конце июня, раньше льды не позволяли, вышел семью кочами из устья Ковымы-реки, два с половиной месяца плыл вдоль побе-

режья Студеного моря, терпя «морские розбои», то есть крушения, и теряя кочи, и лишь в сентябре три судна достигли окончности Большого Каменного Носа. А в эту пору здесь начинаются штормы, дует северяк и несущийся по ветру дождь мешается с туманом и снегом. Осенью скалы Берингова пролива заставляют вспомнить описание их, данное русским путешественником в начале прошлого века: «Место сие представляет ужаснейшее зрелище: черные, страшно друг на друга упирающиеся утесы, между коими особенно отличается один, имеющий совершенно вид пирамиды, вселяют какое-то чувство содрогания. Сие сокрушение страшных утесов заставляет человека размышлять о великих превращениях, которые некогда в природе здесь последовали...» Ну а сейчас — пролив зеркально гладок, редкие разбросанные льдины недвижны и кажутся влитыми в его поверхность, очертания скал, действительно причудливые и резкие, смягчены в рассеянном свете белой ночи, и крики птиц — морских уток, бакланов, топорков, летящих над самой водой, — не нарушают, а еще более подчеркивают царящие здесь тишину и покой.

Теперь вниз, где уже виднеются маяк и крест. Возле них также обязательно останавливаешься, обходишь кругом, читаешь надписи. На потемневшей медной доске, прикрепленной к высокому деревянному кресту, на двух языках, русском и английском, написано:

#### ПАМЯТИ ДЕЖНЕВА

Крест сей воздвигнут  
в присутствии Приамурского Генералгубернатора  
Генерала Унтербергеря командою военного транспорта «Шилка»  
под руководством командира капитана II ранга  
Пель и офицеров судна  
1 сентября 1910 года

Мореплаватели приглашаются поддерживать этот памятник

Крест установили после того, как в 1898 году, в связи с 250-летием открытия Северо-Восточного прохода, по ходатайству Русского географического общества мыс Восточный был переименован в мыс Дежнева.

Рядом, в нескольких метрах, и маяк, сооруженный в 1956 году Главным управлением Северного морского пути (автор проекта инженер Б. К. Семененко). В этом месте склона выходит наружу твердая скальная порода — массивная эта глыба служит маяку естественным основанием. Немногие ступеньки ведут на квадратную площадку. По углам ее, как водится, — тумбы, между которыми провисли тяжелые цепи. Башня маяка начинается четырехугольным, слегка сужающимся цоколем, на нем — четырехугольная же пирамида, заканчивающаяся на высоте шестнадцать метров огороженной площадкой с фонарем-прожектором. Над прожектором — тонкий, со звездочкой шпиль.

Вход в башню прикрывается обычно стальной дверью, но даже ее мощные петли не выдержали бурь минувшей зимы. Водрузить дверь на место еще не успели — лежит тут же, возле маяка. Заглядываешь внутрь: уходят вверх и теряются в темноте колодца вделанные в стену скобы-ступени.

На восточной, обращенной к проливу стороне башни, прямо над цоколем — бронзовый бюст уже немолодого бородатого землепроходца с простыми и сильными чертами русского помора. Взгляд его, как и положено, устремлен «встречь солнцу». Внизу на чугунной доске слова:

СЕМЕН ИВАНОВИЧ  
ДЕЖНЕВ

Родился около 1605 г.  
Умер в 1672 г.

## На другой грани другая надпись:

С. И. ДЕЖНЕВ

В 1648 году первым  
из мореплавателей открыл пролив  
между Азией и Америкой  
и морской путь вокруг  
Северо-Восточной Азии

Этот маяк — самый восточный памятник в стране. Немного ниже его, на узком карнизе над морем — домики станции, где живут и работают несколько человек. Они-то, с наступлением непроглядных осенних ночей, и зажигают прожектор и посылают в эфир радиосигналы, указывающие путь кораблям. И вдруг понимаешь, что оба памятника Дежневу, и маяк, и крест, при всем их несходстве объединены схожим замыслом: ведь кресты древними поморами ставились в наиболее приметных местах побережья и служили навигационными знаками. А сам Дежнев как один из признаков Чукотского Носа поминал увиденную им здесь «башню из кости китовой», сооруженную, видимо, с той же целью местными жителями — эскимосами, также исконными и отважными мореходами. Не на этой ли самой скале она стояла?

Еще раз невольно озираешься вокруг: как всякий памятник органически соединяется с местом, в коем поставлен, и сообщает ему и сам получает взамен дополнительное содержание и смысл, так и эти два простых маяка, прежний и новый, неотделимы от окружающего их сурового пейзажа. Не новое, далеко не новое стремление человека: стоя в памятном месте, мысленно перенестись в минувшие времена, представить обстановку тех дней, участников славного деяния, но если в иных местах требуется для этого известное

усилие воображения — совсем другой кругом вид, другие приметы жизни, — то здесь, кажется, и никакого усилия не надо, чтобы увидеть, как потрепанные штормами дежневские кочи огибают вон ту скалу и поворачивают, наконец, «круто к Онандыре-реке под лето». Все те же остались с тех пор черные утесы, дикое нагромождение камней, скудная зелень травы, снег в расщелинах, льды в проливе... Те же были они и в 1728 году, когда, спустя восемьдесят лет, вторым после Дежнева проплыл здесь на боте «Св. Гавриил» Витус Беринг, выйдя из Нижнекамчатска. «Земля более к северу не простирается, а к Чукоцкому или к Восточному углу земли никакой не подошло», — заключил он. По прошествии еще пятидесяти лет побывал в проливе английский капитан Джеймс Кук в безуспешной попытке пройти из Тихого океана в Атлантический вокруг Северной Америки. Потом лейтенант Коцебу, он-то и оставил столь мрачное описание Восточного мыса. Пролегал через пролив трагический путь «Жаннеты» Де-Лонга, стремившейся к полюсу и раздавленной льдами на 77-й широте. Но все эти экспедиции направлялись с юга. И лишь в 1879 году, то есть впервые за двести тридцать лет после дежневского плавания, швед Норденшельд вошел в пролив с севера. А 21 июля 1920 года, затратив на борьбу с Северным Ледовитым океаном два года, мыс Дежнева обогнул Руал Амундсен на шхуне «Мод». «Сегодня можно отметить о третьем случае сквозного плавания Северо-Восточным проходом», — записал он. За ним, в 1932 году, уже в виду пролива счастливо был отпущен льдами наш «Сибиряков», первым в истории проделавший весь рейс от Архангельска за одну навигацию. А еще через год, глубокой осенью, те же льды вынесли в пролив и вновь утащили на север пароход «Челюскин»... И вот теперь, перейдя пешком

из Уэлена с рюкзачком нетяжелым через «Необходимый Камень» и стоя здесь, в окружении недвижных утесов, — не тот ли являет «совершенно вид пирамиды»? — ощущаешь вполне реально, что и различные времена как бы сливаются в один миг в этом перепеременяющемся пространстве, соединяют вместе всех побывавших тут людей и их героические плавания, а начало сему, длянущемуся уже более трех веков мгновению положил, бесспорно, Дежнев «с товарищи».

Впрочем, споры о Дежневе были — слишком долго не знали историки о его путешествии, только в 1736 году член Российской Академии наук Г. Ф. Миллер обнаружил в архиве Якутской приказной избы отписки казака-землепроходца, а в 1758 году, то есть спустя более чем сто лет после похода, сообщил о своей находке: «Чукотский Нос, лежащий между Севером и Востоком и до неизвестных нам пределов Северной Америки простирающийся, давно уже обойден морем. Давно уж Россияне сим водным путем доходили до Камчатки...» И начались споры: а точно ли Дежневу следует приписывать славу первооткрывателя, он ли возглавлял поход, ведь на двух других, прошедших через пролив кочах предводительствовали также служивый человек Герасим Анкундинов и торговый человек Федот Алексеев Попов? Затем: действительно ли дежневцы обогнули Нос морем? Язык отписок темен: «А с Ковымы реки итти морем на Анадыр реку есть Нос, вышел в море далеко, а не тот Нос, который от Чухочи реки лежит, до того Носу Михайло Стадужин не доходил...» Какой имелся в виду Нос, что за река называлась тогда Чухочей?! «Розбило у того Носу судно служивого человека Ерасима Онкудинова с товарищи, и мы, Семейка с товарищи, тех розбойных людей имали на свои суды... И того Федота со мною, Семейкою, на море разнесло

без вести...» После того как Дежнев остался один, его коч бурей выбросило на берег, «в передний конец за Анадыр-реку». «И шли мы,— вспоминает он,— все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы... и попали на Анадыр-реку близко к морю, и рыбы добыть не смогли, лесу нет, и с голоду мы, бедные, врозь разбрелись...» Теперь известно: судно Дежнева потерпело крушение много южнее Анадырского залива, откуда оставшиеся в живых двадцать четыре человека шли к цели своей, к Анадырь-реке, пешком, в течение десяти недель. Но были и предположения: что, если Дежнев принял за Большой Каменный Нос один из мысов побережья Северного Ледовитого океана, например Шелагский, против которого также есть острова, и выбросило его там же, поодаль, где-нибудь в районе Колючинской губы, и двигался он к Анадырь-реке не с юга, а с севера, пересекая Чукотский полуостров посуху и не достигнув, следовательно, самой восточной его оконечности? Вот, пожалуй, главные сомнения относительно дежневского похода. На все эти сомнения исследователями обстоятельно отвечено, я ничего не могу прибавить к этим ответам и отсылаю интересующегося читателя к специальной литературе. Сомнения такого рода не вызывают теперь досадного чувства, напротив, были они необходимы и полезны: здесь История как бы еще раз все тщательно перепроверяла, исследовала события со всех сторон, чтобы решить для себя уже окончательно: да, именно Дежнев, да, прошел морем, первый...

Однако, когда знакомишься с отписками и челобитными Семена Дежнева, возникает неизбежно еще один вопрос: отдавал ли он себе отчет в том, что совершил, понимал ли истинный смысл своего подвига? Даже так: заметил ли он сам свое открытие, стоящее в одном

ряду с открытиями других великих мореплавателей — Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернандо Магеллана! Какой возникает соблазн сказать: да, понимал, еще в Нижнеколымске, когда бил челом государю «на новую реку на Анадыр», уже тогда чувствовал свое предназначение! Иначе как и объяснить — кочует себе казак по сибирским рекам: Лене, Индигирке, Яне, Оймякону, добирается до Колымы, живет не то чтоб богато, но и не в бедности, пользуется уважением товарищей и вот, на пятом десятке, вдруг снаряжает на свои средства коч, спорит с «вором» Анкундиновым из-за права предводительствовать всей экспедицией, выходит в плавание летом 1647 года, но «был в тое поры на море лед непроходимой», и, вынужденный вернуться, весь год не оставляет Дежнев своего замысла, чтобы следующим летом снова «подняться» на реку Анадыр, о которой никаких достоверных сведений не было, только слухи... А что его ждет? Много спустя, уже в Москве, он пишет в челобитной царю Алексею Михайловичу: «И будучи же на тех твоих государевых службах... всякую нужу и бедность терпел и сосновую и лиственную кору ел и всякую скверну принимал...» Вполне возможно заключить: весь этот взрыв энергии и вынесенные испытания, все это — в предчувствии великого открытия и ради его свершения!

Да, и все-таки слишком мало в своих отписках уделяет Дежнев внимания тому, что мы сейчас прежде всего вменяем ему в заслугу, ради чего и памятник ему стоит на мысе его имени. Вот Анадыр-река была ему нужна, к ней он стремился, ее и достиг и острог тут поставил, и Анадырскую «коргу», то есть отмель, нашел, где «много вылегает морской зверь морж, а на той же корге заморный зуб зверя того». О корге и о реке Дежнев первым делом и пишет, а Нос Чукотский —

лишь один из ориентиров, примета по дороге к ним: «...а тот Большой Нос мы, Семейка с товарищи, знаем... и от того Носу та Анадыр река и корга далеко...» Тут — не в оправдание ли Дежнева?! — можно было бы припомнить, что и Колумб, ступив на прежде неведомый европейцам материк, уверен был, однако, только в том, что открыл новый путь в Индию, но речь не об этом, не о «возможности или невозможности осознать в то время все историческое значение...». Тут внезапно понимаешь совсем другое: что сам-то твой вопрос «сознавал — не признавал?» есть целиком порождение твоего века, когда людям почему-то непременно понадобилось самим оценить свои свершения, и стали как бы сами себе историками, и заглядывают назад, и забегают вперед, пытаясь смотреть оттуда вроде бы беспристрастными глазами потомков, но и ревниво — «гениально — не гениально?», «преходяще — непреходяще?», «впервые ли в мире?». А ведь не предугадать, что в твоём подвиге больше всего отличат потомки: «коргу» или «Нос», диковинную и дорогую «кость рыбий зуб» или нагромождение камней голых, — потому и поучительна и не вызывает снисходительной усмешки деловитая сдержанность нашего пращура. Как иные люди, вися век свой незаметно трудясь, не помышляя вовсе о вопросах великих и вечных, а занимаясь делами обычными, повседневными, оказываются вдруг к концу дней словно напоенными истинной мудростью и высоким пониманием жизни, так и всякие настоящие дела отдельных людей сами собой, без сопровождающих патетических восклицаний претворяются в духовный опыт человечества...

К этой вот простой мысли и приходишь здесь, в неуютном месте, у маяка-памятника Семену Дежневу. Удивительно, как мрачнеют ущелья перед самым ут-

ром, когда простоявшее всю ночь над морем солнце начинает подниматься, высвечивая вершины сопок. Темнеют и льдины у горизонта, а море светлеет. И натянуло откуда-то розовую снизу, темно-фиолетовую сверху гряду облаков. Конец твоего пути близок, уже из-под обрыва выглядывают антенны станции — еще несколько минут, и встретят тебя давние и хорошие друзья. Но если даже ты и в первый раз пришел сюда, путник, все равно найдешь здесь человеческое тепло и привет.

## 2

Осенью в Уэлене начинаются штормы. По неделям, не ослабевая, дует северяк, и море подступает все ближе к поселку. Ветер подхватывает водяную пыль и несет ее через косу, перемешивая с дождем. Окна домов залеплены солью.

Я люблю это холодное время и часто хожу на берег смотреть, как один за другим скручиваются громадные валы и повисают на мгновение зеленоватой мраморной стеной, по которой, словно прожилки, струится пена. Затем стена с грохотом рушится, и начинается обманное движение воды: сначала медленно, как бы нехотя, и стоишь на месте, уверенный, что до тебя не дойдет, но вдруг все быстрее и быстрее, и вот она уже захлестывает тебе ноги. Берег здесь не песчаный, а галечный, поэтому каждый такой аккорд заключается не тихим шипением истаивающей пены, а звоном и скрежетом поднятых, трущихся, стучающихся друг о друга камней. Когда шторм утихнет, посреди ровного пляжа обозначится граница наката — крутая галечная гряда, усеянная мелкими рыбешками, лентами водорослей, чурками, морскими звездами, кусочками потемневшего моржового клыка.

Ну а пока шторм набирает силу. Птиц — бакланов, топорков, мартынов — не видно среди пустынных волн. Горизонт, этот «достижимый край неба», как называют его чукчи, приблизился чрезвычайно, рождая мучительное желание, чтобы за очередным разбившимся валом открылось наконец море, но там уже скручивается другой вал. Да и само небо спустилось, заволокло матовой, непрозрачной пеленой, в которой теряются вершины сопок.

Лагуна с другой стороны косы выглядит спокойной, северному ветру не удается ее раскачать, он только давит на воду, отжимая ее от берега, и временами по ней пробегает быстрая судорожная рябь. Лишь у противоположного края лагуны видна вскипающая белая полоска прибоя — там свой небольшой шторм, жалкий, как подражание...

Полуостров, подобно гигантскому волнорезу, принимает на себя соединенные усилия двух океанов. Проснувшись среди ночи, можно слышать все тот же шум ветра, грохот волн и чувствовать содроганье косы под их ударами. Полупробужденному сознанию море кажется наделенным злой волей, и отчетливо воображается картина, как оно перехлестывает через косу, рушит дома и уносит их со спящими людьми... А утром снова идешь посмотреть на шторм и видишь, как по тому месту, где стоял вчера, прокатываются волны.

С этим же ветром надвигаются льды. Первые льдины моментально дробятся, и осколки летят далеко на берег. Но постепенно полоса ледяного крошева увеличивается, уплотняется, и морю станет все труднее приподнимать ее. Утихнет ветер, установятся ясные, солнечные, морозные дни. Лед будет медленно колыхаться у берега, как тяжелое набухшее одеяло, выгибаясь на длинной пологой волне. С севера, теснясь, придвигнутся

целые ледяные поля. Наконец от моря останется только узкая, ослепительно синяя полоска у горизонта, и будет видно, как вдоль кромки спешат на юг последние стада китов и всплывают, серебрятся на солнце, словно снежная пыль, их фонтаны.

Лагуна к этому времени окончательно замерзнет. Потом закроется и та узкая полоска на горизонте и наступит зима.

...Но это не сейчас, не завтра, и еще много дней можно приходить на берег. И странное спокойствие овладевает мной при виде этого безостановочного волнения. Как что-то нереальное, я вспоминаю большой город и все, что казалось там единственным и непреходящим: настольные лампы университетской читальни, ученые беседы со старым профессором у него дома, в кабинете, где все стены сплошь закрыты книгами и картинами, а на столиках и подставках всевозможные шкатулки, табакерки, бронзовые фигурки и белые античные головы, и все это тускло, по-старинному блеснит, и ни к чему не приглядываешься особенно, а коротко определяешь для себя общее впечатление — «музей»... «Да, о чем это мы с вами говорили? Так вот, не «планъ ея» стояло у Пушкина, а «плач Яр.», «плач Ярославны», и все, таким образом, становится понятным. Конечно же не мог он не отметить...» И собственное молодое тщеславие, соблазн науки, твердая решимость «посвятить себя», и вдруг — мгновенная тоска по далекому путешествию, острое сознание того, что есть места, которых никогда не увидишь, и люди, которые о тебе не узнают. А вдобавок к этому еще любовь, нет, не вдобавок, — любовь, конечно, вначале: сложные, безнадежно запутавшиеся отношения, сумятица мыслей, гонка чувств, доброжелатели, долгие разборы с самим собой, кто что сказал и что сделал и что надо было ска-



зать и сделать, чтобы все пошло по-другому... И внезапный отъезд — в тот самый момент, когда казалось уже, что ничему не сможешь отдать предпочтение, что все эти колебания бесконечны.

Теперь, когда выбор сделан, я рад, что оказался не в лесу, не в степи, где воспоминания о той жизни медленно и томительно глохли бы во мне, а здесь, на берегу океана, где они будто моментально выветрились. Я думаю даже, что все было бы гораздо проще и легче у меня в прошлом, когда бы я еще раньше мог постоять на этом берегу. Север только начинается, говорю я себе, а я-то поначалу воображал, что он будет не более как мутное, залепленное солью окно моей комнаты, сквозь которое я стану вглядываться в прошлое. Ведь, как это ни парадоксально, думал я, наше будущее однозначно, зато прошлое имеет множество вариантов, и я здесь для того, чтобы в тиши и уединении в нем разобраться. Но прошлое отодвинулось далеко, словно я обзираю его в перевернутый бинокль. Лишь в первое время, во сне, оно возвращалось — да, была такая полоса снов, как осенью полоса звездных дождей, и так же, как звезды, вспыхивали они внезапно, мелькали и гасли, теряясь в темноте, и опять вслывали, и всю ночь порывался куда-то бежать, искать, объяснять... И, пробудившись в смятении, в следующий миг слышал гул и содроганье, говорил успокоенно: «Ах да, Уэлен!» — и вновь засыпал, проваливался в черноту.

А наутро — нехитрые и неотложные дела: растопить печь, принести воды из переполненного дождями ручья, сесть за тетради, подобрать нужные для урока фразы. Потом пойти в класс, диктовать там: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн... дум великих полн... Подчеркните, пожалуйста, в этом предложе-

нии...» — и вглядываться в склонившиеся над партами нежные, матово светящиеся лица детей, завешенные иссиня-черными волосами. Где-то читал я про старинные солнцезащитные очки у северных народов: представляли они собой пластинки с прорезями для глаз, такими узкими, что нельзя в них было заглянуть солнцу. Глаза детей напоминают мне пока такие вот очки: я еще не могу проникнуть в них, угадать, что там, за приспущенными веками, за темным, будто сонным, зрачком. Но я надеюсь узнать, я сам учусь — у моря, у рыжих сопок, скрытых сейчас дождем и туманом, у всей этой всхолмленной страны, напоминающей разыгравшийся было да так и застывший с размаху шторм.

После уроков — снова на берег. Иногда я беру с собой детей, и они немедленно затевают с морем опасную игру, цель которой — подобраться как можно ближе по обнажившемуся берегу к нависающей волне, а после удирать что есть силы. Мальчишки хватают девочек и держат, не давая убежать слишком рано, девочки визжат, и первое время я вступался за них, пока не понял, что ничего-то они не боятся...

Я отпускаю детей и сам бреду домой. Дома у меня среди немногих книг, оставшихся от моего предшественника, есть томик Пушкина с отчеркнутыми строчками:

Пора покинуть скучный брег  
Мне неприязненной стихии...

Я пытаюсь представить этого человека, по единственной черточке на полях восстанавливаю его жизнь здесь, вечера, развлечения, скуку, воспоминания, его нетерпение перед отъездом. Я увлекаюсь и сочиняю целую историю и вдруг спохватываюсь, что эта исто-

рия — моя. И тут я понимаю, что рано или поздно наступит момент, когда и я с сочувствием перечитаю отчеркнутые строки и покину этот берег, ибо не единым спокойствием и созерцанием жив человек, но понимаю также, что многое потом отдам, чтобы хоть изредка, хоть раз в году, пусть десять минут из каждой осени, постоять на холоде, ветре и дожде, посмотреть, как скручиваются валы, и вновь припомнить все, чему я здесь научился.

3

Я давно заметил: что бы я ни собирался вспомнить об Уэлене, я всегда невольно начинаю с того, что он стоит на косе. Но сейчас мне кажется, для моего рассказа это тем более важно, и немного позже я постараюсь объяснить почему.

Итак, Уэлен стоит на узкой и длинной галечной косе, протянувшейся между лагуной и морем, а основание ее упирается в подножие большой сопки. Сопка начинается собой удивительную, маленькую — в поперечнике не более двадцати километров — и по-северному прекрасную горную страну, которой заканчивается Чукотский Нос, как называли в старину оконечность этого полуострова. К югу от поселка, за лагуной, на многие десятки километров легла низкая, слегка всхолмленная тундра, а дальше — опять горы. Часто из-за плохой погоды их совсем не видно, зато уж когда проступают они вдали — как преобразуется, восполняется, какую приобретает завершенность весь окружающий пейзаж! Линию тех гор я знаю наизусть и могу воспроизвести с закрытыми глазами. Причем всякий раз она не одна и та же — все зависит от того, в какой стороне закат, потому что здесь, в соседстве с Полярным кругом, мес-

та восхода и заката перемещаются в зависимости от времени года. В середине декабря они совпадают; солнце, не успев взойти, садится именно там, за горами, и тогда очертания их вершин видны наиболее отчетливо и полно. Слева направо: словно постепенно нарастающие волны, три округлые сопочки, затем, уже на высоте, ровная, слегка вибрирующая черта, и вдруг пик, провал и снова пик, а дальше такой же, как вначале, затухающими волнами спад... В такие минуты солнце нельзя не сравнить с полукруглым отверстием некоей плавильной печи, откуда изливается, плотно заполняя и обозначая малейший изгиб горизонта, ровный горячий красный цвет. И если постоять и понаблюдать подольше — а Север ни к чему так не располагает, как к длительному неподвижному созерцанию, — то можно увидеть, чем закончится единоборство белого, холодного и живого, пламенного цветов. Четкая граница между ними станет, наконец, дрожать и плавиться, а на снеговых склонах сопки как бы изнутри, как бы сквозь них проступит слабое бледно-розовое свечение... Я описываю все это столь подробно потому, что, во-первых, это само по себе достойно описания, а во-вторых, речь пойдет о художнике, точнее, о художнице, живущей в Уэлене, и мне хотелось бы пусть немного, пусть приблизительное представление дать о том, что она тут вокруг себя видит...

Когда и я жил здесь, мне не раз случалось проходить мимо небольшого дома в центре поселка. Через одну из его стен была выведена на улицу вентиляционная труба, и всегда в этом месте стоял характерный, какой-то подожженный запах обрабатываемой кости. В домике помещалась косторезная мастерская. Я любил заглядывать сюда и подолгу мог следить за работой мастеров. В самой просторной и светлой комнате за

длинными деревянными столами сидели косторезы. Один, зажав в тиски кусок моржового бивня, выпиливал из него ножовкой нечто, пока отдаленно напоминающее фигуру белого медведя. Перед другим стояла орада готовых, одинаково жизнерадостных пеликенов, а в руках резчика легко поворачивался очередной их приятель. Третий заканчивал собачью упряжку. На плоской и длинной подставке из цельного клыка он укрепил попарно с дюжину бегущих собачек. Впереди, как водится, поставил передовика. Сзади — нарту. На нарту посадил склонившуюся вперед фигурку человека в кухлянке. За его спиной поместил груз. В отличие от прочих частей скульптуры «груз» обычно вытачивался из кусочка очень старого клыка, долгие годы пролежавшего в земле или море и приобретенного от этого золотисто-коричневый, шоколадный, а то и совсем черный цвет... Казалось бы — все. Но нет: в ворохе обрезков мастер нашарил коротенькую, меньше спички, костяную палочку, в руке каюра она превратилась в настоящий остол... и — какой чукча не любит быстрой езды!..

Еще нравилось мне разглядывать старые работы. Они находились тут же, в стоявших вдоль стен застекленных шкафах. Чего здесь только не было, на этих полках! Вот стая косаток, треплющих большого гренландского кита. Медведица, за которой вышагивают два медвежонка, каждый, между прочим, со своим характером: первый в точности копирует мать, второй поотстал, загляделся на что-то... Еще два белых медведя, схватившиеся из-за убитой нерпы... Спящие вповалку моржи... Распластавшийся в полете олень, на котором повисли сразу два волка: один ухватил спереди, за горло, другой извернулся в прыжке и вцепился в брюхо... Вот охотник возвращается с охоты, добытая нерпа скользит за ним по снегу на длинном ремне... Моржиха

кормит детеныша... Просто пасущиеся олени... Просто бредущий медведь. Нерпочка... И опять охотники, пастухи, олени и собачьи упряжки, а главное, звери, извечная звериная жизнь: погоня, битва, победа, испуг, покой, любовь, материнская ласка, сон... Среди всех этих переплетенных, напрягшихся, замерших в живом движении тел выделялась своей геометрической правильностью и какой-то заданной неподвижностью шхуна. Все в ней, вплоть до тонких просвечивающих парусов, тоже было выполнено из кости, и только узкая черная полоска вдоль бортов — из китового уса. Изделие старика Гемауге... Каждая выставленная там скульптура была неповторима, ни один из многочисленных медведей, оленей, моржей не был схож со своими собратьями, но имелось и нечто общее в тех фигурках: покрывший их со временем тонкий желтоватый налет, патина. Это был художественный фонд мастерской, творения старых мастеров, так сказать, образцы, на которые призывались равняться остальные резчики... Ну, а сами знаменитые мастера сидели тут же, рядом, — да стоило мне тогда обернуться к верстакам, и я мог увидеть, например, Туккая, его склоненную над работой массивную, круглую, всегда стриженную наголо голову. Или тонкое интеллигентное лицо Хухутана... А вон призадумался над куском клыка Вуквутагин. У него настоящий облик очень старого человека Севера, лицо его сплошь покрыто сеткой глубоких и тонких морщин — так бывает изрезан во всех направлениях большими и малыми трещинами морской лед...

Но более всего мне нравилась работа гравировщиц. Они помещались в соседней небольшой комнатушке. Перед ними лежали огромные, тяжелые, блестящие клыки моржей. У косторезов визжали ножовки, шаркал напильник, грохотала фреза, жужжали бормашины, да,

обыкновенные, только что без зубоврачебного кресла, бормашины, с помощью которых мастера производили самую последнюю, самую тонкую обработку кости. А здесь была тишина, лишь поскрипывали в руках женщин стальные маленькие изогнутые резцы, похожие на коготок, и так они по-чукотски и назывались — вагылгын... Удивительное дело: ничего нельзя было предугадать постороннему глазу, пока ходил вагылгын по белому гладкому пространству клыка. Но вот, закончив рисунок, художница сплошь зачерчивала его черным карандашом, затем проводила по клыку влажной тряпочкой, и проявлялось сложное сплетение тонких линий, обнаруживались силуэты людей, яранг, оленей, очертания гор. Теперь начиналась работа «кисточкой», крохотной стамесочкой с почти незримыми зубчиками, шли в ход цветные карандаши, и силуэты обретали плоть — округлялись бока и спины оленей, бугрились мускулы моржей, наполнялось водой море, делались отвесны береговые скалы, отодвигались вдаль и там голубели сопки. Непостижимо оживало и белое, не тронутое резцом пространство — становилось воздухом, льдом, снегом... Это было традиционное, излюбленное уэленскими гравировщицами, да и закономерное сочетание: изобразить на одной стороне клыка жизнь моря, а на другой — жизнь тундры, — ведь я уже говорил в начале своего рассказа, что море и тундра господствуют здесь и открыты взору живущих на косе ежедневно и ежечасно. Сама же коса очень походила на моржовый бивень, и таким образом возникал еще один естественный сюжет — вписавшееся в узкую полосу старинное стойбище, а на противоположной плоскости теперешний поселок... От той жизни в Уэлене подобный клык, с морем и тундрой, сохранился и у меня; на его торце неловко, мелкими буквами и цифра-

ми нацарапано: Янку, 1964. Я часто смотрел на него, когда хотел вспомнить Север, и однажды вдруг понял, как приятно, самой природой была дарована чукотской художнице эта длинная, выпуклая и изогнутая поверхность, как, благодаря вот этой кривизне, сами собой, без специальных ухищрений, возникают даль, глубина, объемность, а точнее — необъятность запечатленных земли, воды и неба...

В мастерской было много талантливых гравировщиц. Кроме Янку, была Тынатваль, и еще работала старая Эмкуль, у которой они обе учились. Начинали тогда и совсем молодые способные девушки — дочь Эмкуль Лида Тютютина, дочь Туккая Лена Илькей, дочь Гемауге Майя. Однако не знаю почему, и не в обиду будь сказано всем этим художницам, более всего я любил работы Янку. Наверное, это дело вкуса и потому необъяснимо. Может быть, мне нравились ее горы. Ведь эти вершины не нагромозишь просто так — чем причудливее, тем лучше, — и не срисуешь раз и навсегда эту линию, ведь ее каждый раз надо заново сотворить, единственную для этого пейзажа. И линию моря не проведешь где попало, должно найтись точное, особенно осязаемое на узкой полоске соотношение — чтобы море чрезмерно не загромождало клык и чтобы небо не преобладало над морем... Мне нравилось чувство меры, с которым Янку использовала данное ей пространство, не забывая его до отказа рисунком, не перегружая деталями, но и без схематизма — видимо, это и была гармония. И еще цвет — молодежь почему-то увлекалась яркими красками: оранжевым, красным, ярко-зеленым, ярко-синим, — так что клык начинал походить на перо из крыла неведомой экзотической птицы. А у Янку цвета были как бы приглушены: зеленоватый, голубоватый, коричневатый, серый, совсем немного желтого,

если изображалась, например, вывешенная для просушки шкурка песца, и еще она позволяла себе поместить маленькое красное пятнышко возле головы лежащего на льдине моржа — в знак того, что этот морж убит. Причем подобная сдержанность в цвете не была верным следованием северной природе; я знал, сколько раз видел — а уж Янку тем более знала, — какими фантастическими, ослепительными могут здесь береговые обрывы приобретали на закате кровавую окраску... И как бывали изрезаны скалы и горы, как выветрены камни на вершинах, как петляли реки и ручьи в тундре, какую всхолмленную мятущуюся поверхность являло море во время осенних штормов. Но что интересно: в памяти все это неистовство красок и линий успокаивалось, сглаживалось, меркло, и Чукотка представлялась именно такой, какой запечатлевала ее Янку! То есть ее цвет и линия были, если можно так выразиться, цветом и линией в о с п о м и н а н и я...

Что же касается жизни художницы, то она, скорее всего, разочарует тех, кто до сих пор верит, что на Севере все, от мала до велика, только и делают, что переживают необыкновенные приключения в постоянной борьбе с суровой природой: уносятся морем на льдине, спасаются от преследования разъяренного медведя, теряют дорогу домой, застигнутые пургой, или проваливаются вместе с упряжкой под лед... Янку родилась в стойбище Инчоун, километрах в двадцати от Уэлена. Сейчас это тоже поселок. Он стоит на косе, очень похожей на уэленскую, рядом такое же море, такая же большая сопка и такая же тундра за лагуной. При рождении девочке дали имя Янкувуквуна, по-чукотски это примерно значит: «Камешек, лежащий на морском берегу». Потом стали звать просто Янку. Еще у нее есть

второе, русское имя Елена, так что чукотское постепенно сделалось как бы ее фамилией — Елена Янку. У нее было одиннадцать сестер и братьев. Ее отец... — это теперь чукотские мужчины и женщины работают механиками, радистами, учителями, врачами, библиотекарями и даже появилась такая профессия, как косторез, — а в то время ее отец Сааны, как и все мужчины, занимался исключительно охотой, а мать Тыккай, как и все чукотские женщины, была хранительницей домашнего очага, что можно понимать буквально... Янку была совсем маленькой, когда недалеко от их берега затонул пароход «Челюскин», раздавленный льдами, и в соседний Уэлен прилетело много самолетов, чтобы снимать людей со льдины. Помогали вывозить челюскинцев и чукчи на своих упряжках. Но Янку этого не помнит, ей было тогда три-четыре... Вскоре вся семья переехала в Уэлен, где все тогда жили в ярангах, только несколько домов было деревянных — полярная станция, магазин, школа... Здесь Янку пошла в школу. Все дети, и постарше и помладше, сидели в одном классе, и занимался с ними чукотский учитель Татро. Вместе с Янку учились ее сверстники Галя Тынатваль, Юра Рытхэу... Сейчас Тынатваль, как и Янку, работает в мастерской, она — заслуженная художница РСФСР, а Юрий Рытхэу пишет книги...

Какие развлечения были у чукотских детей? Зимой, в долгую полярную ночь, особенно когда задувает ледяной северный ветер эйгыскын, не очень-то тянет на улицу, но как хорошо, тепло, уютно в меховом пологе. А летом солнце светит, не переставая, много дней, и можно ходить на сопку за цветами или бродить по берегу моря — здесь столько попадалось интересных вещей! Волны выбрасывали кусочки старого потемневшего моржового клыка, морских звезд, маленьких ры-

бок, разные съедобные водоросли. Низко над косою пролетали утки, мальчишки связывали несколько ремешков с камушками или зубами моржа на концах и швыряли в стаю. Ремешки опутывали утку, она падала... Вдали показывались байдары, теперь на берег высыпали все — встречать охотников... И еще бывали необыкновенные дни — это когда береговые чукчи-зверобои и те, что кочевали по тундре с оленями, встречались в каком-нибудь условленном месте. Береговые плыли на байдарках, а оленные подкочевывали поближе к берегу. Тут происходил обмен: одним были нужны олени шкуры для одежд, другим шкуры моржей для покрытия яранг, жир для светильников. Когда Янку стала постарше, отец брал ее с собой в такие поездки. Там устраивался настоящий праздник — с соревнованиями в беге, борьбе, стрельбе. А еще одно состязание заключалось в том, что смельчаков по очереди подбрасывали высоко вверх на растянутой моржовой шкуре, и кто из них удерживался на ногах, тот и побеждал. Девочка глядела и еще не знала, что когда-нибудь изобразит все это...

В косторезную мастерскую она впервые пришла, когда ей исполнилось шестнадцать лет. В прежние годы только мужчины резали и гравировали по кости, да и мастерской никакой не было — каждый занимался этим сам по себе, не считая искусством. Просто брал человек клык в свободное от дел время и вырезал какую-то фигурку. Но однажды — было это в начале тридцатых годов — приехал в Уэлен русский художник Горбунков, собрал резчиков и объяснил, что это не забава, а оказывается, большое, важное дело и заниматься им надо серьезно. Тогда и объединились старые мастера: Вуквутагин, Айе, Онно, Аромке, Гальмо... Сами изготовили верстаки, нужные инструменты, оборудовали помеще-

ние. Вскоре пришла в мастерскую первая чукотская женщина-гравер, дочь Аромке Эмкуль. И когда Янку решила попробовать гравировать, ей уже было у кого учиться... С тех пор прошло тридцать лет! Сколько клыков расписала она за это время? Как-то я спросил ее об этом, Янку подумала и с обычной своей извиняющейся улыбкой ответила: «Коо... Не знаю». Дома у нее не хранится ни одного клыка, кроме разве незавершенного, который она иногда захватывает из мастерской, чтобы закончить работу. И если задаться вдруг целью собрать все ее произведения, сделать это, увы, будет невозможно. Она и надписывать-то их стала не так уж давно, не было ведь раньше такого обычая — надписывать... А между тем работы Янку расходятся по всей стране, по всему свету, по музеям крупнейших городов мира, по международным выставкам. Однажды клык с ее рисунками подарили Рокуэллу Кенту — в день его восьмидесятилетия. Американский художник, столько раз изображавший на своих полотнах Север, написал чукотской художнице: «Я был глубоко тронут, когда получил этот подарок. Ваша замечательная работа сейчас передо мной, я люблюсь ею... Графика на клыке — чудо Вашей земли. Ваше искусство — правда жизни, через него познается душа народа...»

Чтобы изучать работы Янку, в Уэлен приезжают искусствоведы, пишут о ней в специальных исследованиях. Сама же она никуда не ездит. Всего один раз была в Магадане — когда принимали ее в Союз художников. Но это не свидетельствует об узости ее мира, о какой-то инертности природы — просто она переполнена тем, что окружает ее здесь, на берегу, где она родилась. У нее нет потребности в других, посторонних впечатлениях, она действительно запечатлевает душу своего народа... С утра она идет в мастерскую, теперь это новый

большой дом. Из окна, возле которого работает Янку, видно море. Впрочем, море видно и из окон ее собственного дома, и когда она идет по поселку — отовсюду... Янку выбирает клык, с помощью тесла оббивает с него жесткую, пожелтевшую, в трещинах эмаль. Потом долго шлифует его — напильником, наждаком, острой бритвой, мелом. Работа эта предварительная, черновая, но ее всегда надо делать самой — чтобы чувствовать поверхность. Когда клык готов для гравировки, Янку кладет его перед собой и какое-то время на него смотрит. Это она называет «немножко думать». И надо видеть, как она уходит в себя, как удивительно изменяется в эти минуты ее лицо, обычное лицо чукотской женщины с грустноватой, мягкой улыбкой. Ее глаза, большие и темные, кажется, делаются еще темнее и больше, удлиняясь к вискам, и в них возникает выражение отрешенности и печали... Янку берет карандаш, набрасывает что-то, стирает, пробует снова. Затем сжимает в руке «коготок»-вагылгын и, упираясь большим пальцем в клык, прочерчивает на нем длинную плавную линию — так легко, словно не стальным резцом по твердой кости, а карандашом по мягкой бумаге...

Я не знаю, что она задумала изобразить на сей раз — охоту ли, праздник или рассказать с помощью рисунков древнюю чукотскую легенду, — но я уверен, что море и берег будут там обязательно. Ведь на них можно смотреть и воспроизводить их бесконечно, как, например, бесконечно можно воспроизводить облик дорогого тебе человека... Даже я, совсем не художник, часто пытаюсь нарисовать — разумеется, только для себя — этот берег. Тогда моя память, как некая собирающая линза, соединяет все его цвета в один, изначальный, а все его линии — в самую простую, прямую черту. Я провожу ее на бумаге, вглядываюсь в нее, потом ставлю на ней ма-

ленькую, еле различимую точку. И мне достаточно этой линии и этой точки в окружении белого беспредельного пространства.

4

Нигде, кроме Уэлена, не представишь себя так легко и точно по отношению к целому земному шару. Не полуостров, не оконечность его и не поселок, а именно себя, стоящего на краю материка, в самом его северо-восточном углу. Иногда воображение рисует этот материк в виде бесформенной туши задремавшего на лежбище моржа, и тогда каменная громада Чукотского мыса становится его головою, а уэленская коса — длинным изогнутым клыком. Нигде, как здесь, если продолжать говорить о географии, не ощутимы так, ежедневно и ежечасно, все четыре стороны света. Живя в городе, никогда не спрашиваешь себя, где тут север, а где юг, где восток или запад, и только припомнив, что всякий раз, возвращаясь с работы, видишь в конце улицы заходящее солнце, можешь сказать себе, что запад там. На Чукотке стороны света так же реальны, как, например, море, тундра, горы, льды, как, наконец, стены вашего дома.

Но Уэлен мне почему-то видится не в квадрате и даже не в круге, поделенном на 360 частей, а, скорее, в эллипсе, составленном из двух дуг, одна из которых — это море и север, а другая — тундра и юг. Да, север и юг господствуют здесь во все времена и полны значения для повседневной жизни поселка: летом вдоль севера, низко над водой, ходит солнце, освещая круглые бурые спины моржей и длинные черные — китов, осенью оттуда приходят штормы и по месяцам дует северяк, переноса через косу мельчайшую соленую

пыль, оседающую на окнах. Вслед за штормами надвигаются льды и наступает зима — время терпеливой охоты возле разводий. А солнце уходит на юг и выныривает там, среди сопок, чтобы тут же спрятаться, как испуганная нерпа. Замечено, что в эту пору полярных сумерек на юг почему-то любят смотреть собаки — неизвестно, что их там привлекает, но могут подолгу сидеть и смотреть, не шелохнувшись. Люди тоже смотрят на юг — чаще всего осенью, когда из тундры в море, прямо над поселком, собравшись в стаи, перелетают утки, поглядывают и зимой, ожидая самолет или пургу.

Действительно: «от юга приходит буря, от севера стужа». Ледяной зимний северяк не бывает особенно сильным, зато ветер с юга достигает двадцати пяти — тридцати метров в секунду, и говорят, что здесь, на побережье, это далеко не предел. Есть множество конкретных примет, по которым можно определить приближение пурги, но самая, пожалуй, главная — это ощущение возбужденного ожидания, охватывающее вас перед тем, как передовые отряды ветра вступят в поселок. Возбуждены и собаки — они не лежат, как обычно, свернувшись на кучах золы, а перебегают с места на место и то и дело принимаются кататься по снегу.

Сначала ветер налетает порывами — это авангард пурги, разведка. Потом он устанавливается и дует пока несильно, но ровно, и видно, как по лагуне, подсвеченной снизу, из-под горизонта, зимним солнцем, ползут, извиваясь, к поселку белые снежные змеи. В это время еще можно успеть внести в дом запасы угля, если он у вас на улице, и сбегать в магазин за недостающими продуктами. Обрато приходится возвращаться согнувшись, ложась на ветер и пряча лицо от снега, поднявшегося уже высоко. Собаки не катаются больше — некоторые забились в угольники, а другие сидят с под-

ветренных сторон домов, прижавшись боком к стене, мордами в одну сторону, к завихряющемуся вокруг углов ветру. Возле домов особенно трудно идти, они слишком невелики, чтобы защитить от ветра, он обтекает их сверху и с обеих сторон и, на какое-то время сбившись с пути, начинает кружить и метаться, так что не знаешь, откуда он налетит и ударит. Лучше держаться открытых мест, где вся масса воздуха, не колеблясь, стремится только в одном направлении — на север...

Только что на улице пурга обыкновенным образом выла и свистела, но в доме она звучит по-другому. В тамбуре вас оглушает грохот железной крыши, словно по ней прокатывается асфальтовый каток или пробегает нескончаемое стадо оленей. Привыкнув к этому звуку, начинаете различать еще один: тонкое посвистывание ветра сквозь крохотную дырочку в наружной двери. Против этой дырочки уже возвышается небольшой холмик снега. Открываете дверь в комнату и натываетесь на тяжелое ватное одеяло. Выпутываетесь из него не прежде, чем закроете дверь, — так меньше напускается холоду. Здесь грохот пурги потише, ровно и напряженно гудит печка. При такой тяге можно совсем закрыть трубу — все равно будут уноситься и угар, и дым, зато тепла останется больше.

Уголь и вода есть, продуктов хватит, в доме тепло. Теперь можно спокойно сесть к столу с кружкой чая и журналом да еще поймать по «Спидоле» какую-нибудь музыку. Гаснет свет — опять где-то не выдержали многострадальные, неоднократно порванные предыдущими пургами, не раз чиненные провода. Но есть свечи. Язычок пламени стоящей против окна свечи колеблется. Задергиваешь окно шторой, пламя выравнивается, зато штора — хотя окно тщательно замазано — начинает едва заметно колыхаться.



Пурга стремится в дом, и он сотрясается от ее ударов. Даже в этом равномерном и бешеном движении бывают какие-то ускорения, когда кажется, что олени, бегущие сзади, сшибли передних и покатались по крыше в общей большой свалке. Не труба ли это упала? Почему-то хочется выйти и посмотреть. Снова одеваешься. Процесс этот не совсем обычный, и его стоит описать. Влезаешь в брюки — меховые или ватные, наставленные сверху до уровня груди. Обуваешь сапоги с широкими голенищами — как раз для таких брюк. Вверху голенища стягиваешь ремнями. Следующий из доспехов — куртка. Она так и называется «Пурга», ее придумали — хочется сказать «сконструировали» — специально для севера. Куртку застегиваешь сначала с левой стороны, потом сверху — с правой. На шапку накидываешь капюшон и последнюю пуговицу нашариваешь где-то возле уха. Стягиваешь капюшон вокруг глаз и завязываешь шнурки. Теперь можно выходить. Снова возня с одеялом. Грохот крыши. В тамбуре светло от налетевшего снега. Он лежит на полу толстым ровным слоем, если не считать холмика против той дырочки, который значительно вырос. На улице совсем темно. Карабкаешься на сугроб, светишь на крышу фонарем. Кажется, труба цела. Раз уж оделся, надо выбросить снег из тамбура, чтобы завтра открылась дверь. Осенью, казалось, все было забито, заткнуто, заделано — деревом, паклей, кусками старых шкур, — но каждая новая пурга находит себе новые щели... Снег тяжелый, влажный, его можно бросать даже против ветра. С севера тоже, бывает, метет, но снег оттуда принесится легкий, высушенный морозом, он разлетается, как пух, при одном прикосновении лопаты. Снег выброшен, дверь закрыта — снова наносится снег.

На ночь засыпаешь в печь целое ведро угля — что-

бы поддерживать тепло, надо топить непрерывно. Прежде чем уснуть, долго лежишь в темноте, глядя на мечущиеся по потолку отсветы пламени, слушая пургу, воображая теперь особенно отчетливо стремящийся во мраке поток, иссеченный белыми пунктирными линиями. Куда дует этот ветер? И оттого, что, живя здесь, часто представляешь себе земной шар, и оттого, что меридианы в этом месте особенно круто закругляются и устремляются к полюсу, кажется, что ветер, едва миновав поселок, не удерживается над морем, а срывается по касательной куда-то в околоземное пространство.

Опять сшибли и покатались олени. К однообразно-му грохоту крыши теперь примешивается другой звук — несколько быстрых резких ударов. Это где-то над чуланом, определяете вы, отрывается лист железа. Но сейчас, ночью, ничего сделать нельзя. Остается лежать и чувствовать себя единым с содрогающимся домом, и вспоминать старое чукотское заклинание: «Если я боюсь нападения келе, когда сплю одиноко, я говорю: «Я делаю себя маленьким камешком. Он лежит на морском берегу. Разные ветры дуют на него, многие волны омывают его. Я невредим...» Да, и сейчас вы чувствуете себя маленьким камешком — и себя, и дом, — только не на морском берегу, где вам спокойно среди множества других камней, а совсем одиноким камешком, подрагивающим на ледяном ложе под напором сильного весеннего ручья. «Нельзя слиться с этой природой, — размышляете вы, — это там можно, на юге, где высшее ее сосредоточение — солнце, или в средней полосе, где сосредоточения вообще нет, а вся сила поделена, равномерно разлита по кустам, речкам, полянам, березам и отовсюду ненавязчиво входит в вас, так что вы и сами не замечаете, как слились, а здесь не заметить и слиться нельзя, а можно только противостоять: морю,

тундре, дождю, морозу, снегу и высшему их соединению — пурге...»

Вот о чем примерно думаете вы ночью, слушая пургу, когда спите одиноко. Но если не одиноко, и даже не вдвоем, если в кроватке, со всех сторон завешенной одеялами, посапывает еле слышно существо, которое вы и по имени пока не называете, так это странно, а просто — «человечек», то сразу, услышав хлопанье на крыше, вспоминаете не закливание, а довольно большой деревянный брус, виденный возле школы, и мысленно прикидываете, достаточно ли он тяжел, чтобы придавить им до окончания пурги отрывающееся железо. Несколько раз среди ночи вы просыпаетесь и освещаете фонариком термометр, висящий на уровне кровати. Потом идете на кухню, разбиваете слежавшийся в печке темно-красный ком угля и подбрасываете новую порцию.

Назавтра выполняете свое намерение насчет бруса. Взваливать его на плечо при таком ветре — нечего и думать. Тащите волоком, то и дело останавливаясь и поворачиваясь к ветру спиной, чтобы перевести дыхание — не оттого, что брус очень тяжел, а оттого, что очередной глоток воздуха был выхвачен и унесен прямо из горла. С еще большими ухищрениями закидываете брус на крышу. Снова — в который раз — выбрасываете из тамбура снег.

И так несколько дней и ночей, а иногда с небольшими перерывами и по неделям, и по месяцу мчится через поселок обезумевший ветер. В последние дни уже не метет: весь снег, не успевший слежаться, поднят и выметен из тундры, а оставшийся сбит и сглажен, как асфальт. И в какую-то ночь вы просыпаетесь от внезапной тишины: не гремит крыша. Пурга утихла мгновенно, вот только что была здесь, и вам кажется, что,

выскочив из дома, вы увидите, как она быстро удаляется в темноту, словно последний вагон промчавшегося мимо полустанка поезда. И сразу же температура в комнате подскакивает до тридцати — начала отдавать все свое тепло раскалившаяся за эти дни печка...

Наутро все ходят с лопатами, откапывают друг друга. Особенно занесло тех, чьи окна и двери выходят на север. В сугробах, сровнявшихся с крышами, пробивают траншеи, но весь снег не раскидывают — так будет теплее. Самые большие сугробы — длиною в несколько десятков метров и высотой метра в два-три — пролегли поперек косы, в просветах между домами, там, где на пути ветра не было препятствия. Плавными и округлыми очертаниями они напоминают морских великанов, которые ползли из лагуны в море и не доползли. Там, где они пересекли дорогу, в их боках выбивают ступени.

Кроме того, что изменился рельеф поселка, и сам он обновился, стал чище. Занесло горы консервных банок, бутылок, золы и прочих отбросов, неизбежно вырастающие за время зимы возле каждого дома. Скрылся старый снег, почерневший от копоти из многочисленных труб. И если весной рассечь до основания какой-нибудь сугроб, то по разрезу, по чередующимся черным и белым слоям можно подсчитать, сколько пурги было за минувшую зиму.

Эта была не очень сильная: ни у кого не свалило трубу и не сорвало крышу, не открылось море. А ведь бывает, что в середине зимы ветер отрывает от припая лед и сдвигает его к горизонту, и тогда некоторое время, пока льды вновь не сомкнутся, море напоминает протекающую вдоль поселка широкую реку с низкой заснеженной равниной на том берегу, с облаками вдали, полами на горы.

Чувствуете какое-то обновление и вы — оттого, что

противостояли пурге и не были побеждены. Так что же вы — победили? Должны признаться, что нет, потому что она не сражалась с вами. Не было ей дела до вашего мужества и сопротивления, не было в ее действиях ни разумной необходимости, ни злонамеренной случайности — слепая цель ее была промчаться извечным для этих краев путем, и, промчавшись, не иссякла, не рассыпалась эта дикая орда, а просто миновала вас и кружит теперь где-то там, у полюса. Какими-то путями она вернется, зайдет к югу, чтобы вновь устремиться к северу, а у вас пока есть время снова запастись углем и льдом, прибить оторвавшееся на крыше железо и заделать в вашем доме последнюю, как вам кажется, щель.

5

В эти апрельские дни, что я живу в Уэлене, погода меняется по нескольку раз в сутки. Поутру тянет несильный северяк с моря со снегопадом, потом вдруг начинает задуть ветер с юга, из-за лагуны, и поднимает не успевший слежаться снег обратно в воздух. Особенно хорошо видно, как сметает его с уэленских скал — там своя небольшая пурга. Все ждут пурги настоящей. Но к обеду проглядывает солнце, то есть поначалу самого солнца нет, а только свет его сквозь какую-то молочную пелену, такой яркий, что режет глаза. Когда эта слепящая мгла рассеивается, открываются вершины ближних сопков, Инчоунский мыс на западе и наконец — это всегда неожиданно — проступают самые далекие горы на краю тундры. Ночью выходишь из дома: темно, морозно, и в море, над торосами призрачное, бледно-зеленое свечение — северное сияние. Время от времени будто чья-то незримая рука проходит по этой изгибающейся ленте, стирая ее, но едва

успевает дойти до конца, как следом начинает проступать, возобновляться тот же свет... И так хорошо, тихо кругом. А на завтра — опять ветер, снег...

Намерение мое съездить к Берингову проливу, в Наукан, я откладываю. Когда бы можно было остаться там хоть на пару дней, побродить, посмотреть... Но селение давно необитаемо, жители его, науканские эскимосы, еще в конце пятидесятых годов перебрались в другие поселки: в Нунямо, Пинакуль, Лаврентия, многие в Уэлен.

Приехать, бросить взор на отвесный каменный берег, на маяк-памятник Дежневу, на остовы жилищ, если не совсем их замело, да и назад. И собаки будут с вежливым недоумением оборачиваться на тебя: где же, мол, твоя нерпа, лахтак, зачем ехал, охотник?.. Но и для того чтобы просто так, мимолетно взглянуть, я бы поехал, — доведется ли в другой раз побывать здесь? — только вот погода... Это уж известно: в Уэлене слегка метет, а в Наукане — пурга.

В один из вечеров в уэленском клубе репетирует ансамбль чукотско-эскимосского танца. Я иду. Клуб в поселке теперь новый, с вместительным фойе и зрительным залом, с комнатами для различных кружков. Танцоры собираются на сцене. Приходят старики Тагъёк и Тулюкак, жена Тагъёка Ая и жена покойного Умки, совсем старенькая Эмун. Приходит молодежь и школьники, в основном почему-то девочки. Руководитель ансамбля Семен Эмутеин приносит бубны. Это не те знакомые нам бубны с бубенцами, которыми потрясают во время пляски, звенят, и бренчат, и хлопают себя по разным частям тела. На вид они незатейливы: большой деревянный обод, обтянутый кожей моржового желудка. К ободу прикреплена короткая рукоятка. Ударяют по бубну палочкой из уса гренландского кита.

Но изготовить такой бубен не просто, вот почему они тщательно оберегаются и передаются из рода в род.

Мужчины с бубнами усаживаются в ряд на стулья, сзади и по бокам выстраивается хор. Эмутеин объявляет, что будут танцевать, и — разом начинает звучать мелодия. «Я-а-а... Я-а-й-а-а... Ай-я-а-айя...» Негромко вторят ей бубны. «Пинильгэ саюн» — «Любимый танец». Танцующие выступают из хора вперед, образуя полукруг. Этот танец могут исполнять все, и мужчины и женщины, но каждый на свой лад — ведь мужские и женские движения отличаются друг от друга. И определенного сюжета здесь нет; свободно, делаясь все громче, льется напев: может быть, впервые проглянуло солнце, может быть, прилетели пуночки, сошел снег, распустились цветы на сопке, и все радуются этому... Мелодию для «Любимого танца» сочинил Тагьёк. Сильнее и чаще ударяют палочки по бубнам, резче становятся движения танцоров. «Йа-ка-йа, йа-ка-йа, йа!» — внезапно, с последним раскатом бубнов, обрывает хор, и танцующие замирают в согласных позах: одна рука перед грудью, другая поднята вверх.

Потом выступают отдельно мужчины, потом женщины. «Охота на море» — традиционный мужской танец. Широко расставленные, согнутые ноги мужчин будто вросли в пол. Не теснота ли полога зимней яранги породила эту скупость передвижений? Зато тем выразительнее движутся руки, голова, плечи, туловище, с их помощью передаются тончайшие оттенки переживания, здесь все: и осторожность и внимательность охотника, выслеживающего зверя, и высшее напряжение поединка, и торжество победы... Зрителей в зале, кроме меня, почти нет, изредка заглядывают из фойе собирающиеся к кинофильму, и тогда слышно, как там стучит бильярд. Но танец живет и сам собой — эх, как

самозабвенно исполняет старая Эмун «Открытие клуба» под сочиненную ею мелодию, как резко, энергично движется ее маленькое сухое тело в свободной камлейке, выбились из-под платка седые пряди, поблескивают очки... Когда танцуют взрослые, молодежь, не занятая в танце, выстраивается в глубине сцены, за хором, и там повторяет движения старших. В перерывах по сцене носятся малыши, трехлетний внук Тагьёка подбегает к деду, хватается за бубен, тянет к себе палочку, дед не дает ему, тогда он в знак протеста садится на пол... «Трудный подъем», — говорит Эмутеин, откладывает свой бубен и один выходит вперед.

«Я-а-а...» Легко, непринужденно начинает свой путь человек, все интересно ему, озирается по сторонам, привольно дышит. Но круче поднимается дорога, все тяжелее идти, теперь выбора нет и впереди одна цель — вершина, где можно будет и передохнуть. Взор путника неотрывно устремлен вперед и вверх, напряженные ноги коротко переступают, руки как бы с силой вонзают остроконечную палку в плотный снеговой склон. «А-я-а-а-а...» — гремит хор, частые и громкие удары бубнов подобны толчкам человеческого сердца. Тут подразумевающееся по замыслу напряжение всех сил словно соединено с действительным трудом танцора, прямо физически ощущаются тобой его нелегкие движения, его усталость.

«Йа, айя, йя!» — по обыкновению резко смолкает песня, и в последней позе, в последнем шаге застывает человек, видно, что он одолел подъем, сделал завершающий шаг, но еще не расслабился, не так скоро можно освободиться от тяжелой дороги... Хочешь, вспомни, как сам ходил по этим горам, хочешь, представь целую человеческую жизнь — твое дело...

...Эмутеин обещал рассказать мне об ансамбле, на другой день я прихожу к нему. Это худощавый, соррка с лишним лет эскимос, в лице его мне чудится какая-то стеснительность. Родился он в Наукане, сызмальства, как и все сверстники, привыкал охотиться. После школы закончил строительное училище в Провиденции, многие дома в Уэлене выстроены его руками. Сейчас Эмутеин руководит ансамблем. Уэленский ансамбль выступает и в Анадыре, и в Магадане, и в Хабаровске. Несколько раз уэленцы приезжали на Всесоюзный смотр в Москву... Искусству танца Семен начал обучаться с детства, еще в Наукане. Помнит, пришел к ним в школу старик Синянек, показал самый первый танец. Для мужчин он называется «Тохомин», а для женщин — «Путурак». Что-то вроде «Вольного». В нем есть все основные движения, так сказать, «азбука» танца... Приезжали в Наукан гости, эскимосы с Имаклика, уэленцы... И обязательно устраивали соревнования в танцах, был такой специальный круг для состязаний. Кто лучше исполнит, дольше продержится в круге, больше покажет танцев, тот и побеждает и получает призы — лахтачи и нерпичьи шкуры, камус на обувь, материю на камлейки. Науканцы часто побеждали, хорошие были танцоры... Тогда Нутетеин и Умка еще не старые были, а уже знаменитые на все побережье...

— А помнишь, как Нутетеин исполнял свой «Танец Ворона»?! — спрашиваю я.

— Ох, и ловкий был, — с восхищением говорит Семен, — какие точные были у него все движения! Этот танец я выучил, а вот другой, «Полет чайки против ветра», так и не смог запомнить... Сейчас мы некоторые новые танцы сочинили: «Телефонный разговор», «Дружба», «Фестивальный»... Аяя и Эмун могут... А некоторые старые забыли — «Ремонт яранги», «Сбор зелени»

не танцуем... Старики умерли, трудно без них, — сетует Эмутеин. — Еще мы не можем придумывать новые движения, а они могли!

Постепенно из нашей беседы, мне кажется, я начинаю понимать причину застенчивости Эмутеина — ему как бы совестно, что он, не сочинивший ни одного своего танца, стал преемником таких прославленных мастеров. Но сберечь в себе то, чему научился от них, и в свою очередь стараться научить этому других — тоже ведь важное дело, которому Семен отдает все свои силы и умение, вот почему, я считаю, он по праву возглавляет ансамбль. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я снова завожу разговор о Наукане. Когда я говорю, что бывал там, Эмутеин оживляется и вдруг предлагает: «Сходим к Тагьёку?!»

Тагьёк тоже из Наукана. Сейчас ему шестьдесят четыре года, не так много для старика, но по здешним понятиям это возраст патриарха. Он и впрямь патриарх, у него уже пошли правнуки.

Старшая его дочь Мемьльнеун работает швеей в уэленской мастерской «Северные сувениры». Младшая Валентина гравировает по кости, сейчас учится в совпартшколе во Владивостоке. Сын Яков Тагьёк стал профессиональным артистом, выступает в ансамбле «Эргырон», что значит «Рассвет». Внучка Зина — секретарь Уэленского сельсовета... Трудолюбивая семья! Сам Тагьёк хотя и на пенсии, но работу не оставляет. При косторезной мастерской организована специальная бригада с ответственной задачей: объехать места прежних поселений и стойбищ эскимосов и чукчей и собрать предметы старинного быта для создаваемого в Уэлене музея. Тагьёк возглавляет эту бригаду... Живет он в новом двухэтажном доме.

— В Наукане такого дома не построить, — говорит

он. — Места мало на скалах... И машина там не пройдет, и вездеход. Даже вертолет не сядет.

Это звучит как объяснение, почему оставили родное место.

— Все на себе приходилось таскать, — добавляет Семен. — Маяк когда строили, я молодой был, бюст Дежнева наверх затаскивали. Ох и тяжелый, человек двадцать нас тащило. Носилки крепкие сделали из весел от байдары. И сверху еще помогали, подтягивали веревками...

Я представляю, как Эмутеин тащил бронзовый бюст своего тезки-землепроходца на обрыв, куда и без всякого груза забраться нелегко...

— Что бюст, а киты? — напоминает Тагёк. — Всем селением поднимали. Блоки деревянные были наверху, а другой блок укрепляли прямо на ките. Сверху и большие и маленькие тянули, а кит внизу поворачивался, жир с него полосами разматывался... как бинт. День и ночь работали, море ждать не станет. Однажды не успели разделить, штормом унесло кита, через три дня только нашли, опять притащили...

— Сильные очень люди, — вторит Эмутеин. — Когда охоты не было, погода плохая, собирались в большой пещере на берегу. С утра до обеда устраивали бег, мужчины бегут по большому кругу, молодые по маленькому, в середине. Потом — борьба...

И я вижу, как мало-помалу на лицах моих собеседников проступает светлое и сосредоточенное выражение, свойственное воспоминанию, причем воспоминанию лишь об одном — о родине, как загорается в их глазах взволнованный огонь. Наукан!.. Было шесть вершин в его окрестностях, по которым издавна определяли время года, не просто отмечали приход весны, лета, или осени, или зимы, но узнавали о времени того

или иного занятия. Когда солнце проходило над вершиной Аграрат, можно было очищать дома от зимнего снега. На склоне другой горы лежал большой камень Сигалге, что означало «Ползущий на животе». Когда солнце шло через этот камень, пора было бить лежащую на льдах нерпу. Скала Кагытхекак — «Серая чайка» — указывала время сбора птичьих яиц. Повисало солнце над Какытак, «Рыбьей косточкой» — можно добывать лахтаков и моржей. А вот когда впервые появлялось оно над Таликук, скалой, похожей на ласт белухи, — собирайся охотиться на белуху и кита... Весь год бывала охота, даже зимой пролив не закрывался наглухо льдом, как море на севере, и сверху, со скал, хорошо было видно, где разводье, где зверь, куда он плывет... Возле поселка имелись специальные места, каждое со своим названием — Тынагрук, Ыньльках, Тукак, Каяхвик — места ожидания, где сидели старики и смотрели на море. Завидев кита или стадо моржей, они давали знать охотникам, и те садились в байдары... Когда у берега стоял припай, охотиться уходили на кромку льда, к чистой воде, и опять старики не покидали своих постов, бдительно следя за припаем, ведь в любой момент его могло взломать, оторвать. Только начинал тянуть кажущийся безобидным южный ветерок, старики хором, громко, трижды кричали: «И-и! И-и! И-и!» — и далеко разносился отраженный скалами сигнал опасности. Охотники спешили к берегу, обходя появившиеся трещины, старики показывали, как лучше идти. Иному тяжело было с добычей, и он не поспевал, полоса воды между ним и берегом все увеличивалась. Но кто это выдумал, что люди покорны злему духу, забирающему к себе их собрата, и не предпринимают ничего, чтобы спасти его?! Сейчас же те, кто был на берегу, stalkивали байдары, кидались в них

и нагоняли уплывающую льдину... Сильные, быстрые и бесстрашные люди!

И — гостеприимные, щедрые: когда приезжали соседи из Уэлена, или из Инчоуна, или с Нешкана, где зимой случалась плохая охота, с ними всегда делились. Мясо, жир, шкуры — это и еда, и одежда, и жилище, и свет. Каким жиром лучше всего заправить жирник? Конечно, жиром белухи, он горит жарким и белым пламенем, а от моржового и нерпичьего жира пламя красноватое, коптящее... А как убить белуху? Надо стрелять ей только в голову, и только в тот момент, когда она всплывает. Тогда белуха не утонет. Когда стреляешь в погружающуюся или попадаешь не в голову — утонет... Мясо ее, удивительного темного цвета, очень вкусное, и становится еще темнее и вкуснее, если вялить его ломтями на горячих камнях под солнцем.

И не только охотились да вечно противостояли суровой природе — холодному морю, туману, ветру, морозу, пурге, — но умели и воспеть свою жизнь, увидеть ее осмысленной и прекрасной. В легендах, в фигурках из моржового бивня, в танце, даже в названиях окрестных гор, ручьев, долин, сколько-нибудь примечательных камней... Огромная гора, что нависает над поселком, названа его жителями Насик — «Сугроб». Скалы со множеством круглых дырок в отвесных стенах носят имя Ырынгыт — «Глазастые». На этих скалах птичий базар. Большие камни на берегу моря называются Кихпит — «Седины». Возле них, по преданию, была вырыта яма, где люди и выращивали кита, рожденного женщиной...

...Лирические воспоминания Тагьёка и Эмутеина перемешаются смешными случаями — эскимосы умеют посмеяться и над собой, и над другими, беззлобно, дружелюбно.

— Как я однажды с вельбота упал, — говорит Семен. — Кита гоняли, фонтан маленький, и думали, кит маленький, а оказалось, большой, но косатки его поранили... Стреляли несколько раз, гарпунить надо. Подошли, я стою с гарпуном. Только кинул, а вельбот качнуло, и я — за гарпуном следом. В последний миг извернулся как-то, за борт ухватился с другой стороны и вишу. А Никуляк и Кинтын оглядываются, меня не видят. «На Эмутеин?! Где Эмутеин?!» — Семен очень хорошо изобразил оторопь охотников. — А я им из-за борта: «Вантак'о, тут я!» Вытащили меня, сразу чай... Ох, летом хорошо в море: светло, чаю крепкого тут же, в вельботе, попьешь, сутки-двое охотишься, спать совсем не хочешь...

— А с Умкой случай был, — напоминает Тагьёк. — Опять кита гоняли, осеннего, агывсака. Я тоже на вельботе был... Умка на носу стоял с гарпунным ружьем, ждал, когда кит вынырнет. Вдруг наш вельбот к-а-ак подбросило — кит под нами прошел. Мы кто за что похватались, а Умка со своим ружьем еще выше полетел. Пока он в воздухе был, вельбот с того места ушел. Умка видит, что падает прямо на кита. И — бросил ружье. Оно в кита стволом ударило, само выстрелило. Кит сразу в воду опустился, на этом месте яма образовалась. Умка туда упал, кухлянка у него надулась, плавает в яме, как пыг-пыг. А мы вверху, на большой волне. И с этой волны, как с горы, мы к нему на вельботе съехали... Умка с охоты вернулся мокрый-мо-о-крый, — лукаво заключает Тагьёк, и мы все смеемся, потому что, если бы просто мокрый, ничего удивительного тут не было бы, а вот «мокрый-мо-о-крый» — действительно смешно.

— ...А кит назавтра всплыл, на том самом месте. Очень большой. Праздник тогда устроили, полякут,

праздник кита... После того в Наукане недолго охотились. Скоро уехали. Сначала часть семей, дома ставить на новом месте, потом к ним другие... Нутетейн уехал, Умка, Хухутан, Тулюкак, Утоюк... все! — говорит Тагьёк задумчивым тоном. И лицо Эмутейна тоже сосредоточивается. Вот по тому, оставленному людьми селению мне и довелось бродить однажды: крутой склон горы, уходящий далеко вверх, и такой же крутой обрыв к морю, а посередине, на тесной ровной площадке, сохранившиеся стены домиков, сложенные из всего, что могла предоставить природа — из плавника, из камней, попеременно с дерном... И скалы, скалы кругом. И пролив... «Нет! — невольно думаю я, глядя на серьезные лица эскимосов. — Неправы были древние, а скорее всего иронизировали, когда говорили: «Ubi bene, ibi patria» — мол, где хорошо, там и родина... Где родина — там хорошо!»

Когда я возвращаюсь домой, уже темно, и полная луна стоит высоко над лагуной. В ее отвесном свете, не дающем теней, большая уэленская сопка кажется низкой и плоской. Еще выхватывается ярким пятном лагуна, а дальше, в тундре — мерцающий сумрак... В разных концах поселка начинают подвывать собаки, но слаженного хора еще нет, то и дело какая-нибудь сбивается на лай и вслед за ней сбиваются и другие, потом снова зарождается и начинает разрастаться: у-у... у-у-у... В Уэлене этот звук привычен и незамечаем, как, скажем, в большом городе шум машин, но мне, вернувшись сюда спустя десять лет, он опять нове...

Я продолжаю размышлять о душевной сосредоточенности этих людей на всем, что говорит и напоминает им о месте, где они родились, где были молодыми... Вроде бы и недалеко, всего за двадцать километров уехали от Наукана, и такое же море вокруг, сопки, те

же снега, тот же серый галечник на берегу... Ну ладно — они, но отчего и для тебя столько очарования заключается в названиях: водопад Акулик, вершина Кегнектук, сопка Ингерук? А какое странное, почти родственное чувство узнавания и обретения чего-то давно забытого было вчера, когда смотрел на эти танцы, слушал эти напевы! Несложные, кажется, движения — на согнутых ногах в одну сторону, потом в другую, а поди-ка, воспроизведи! Вон и сам Эмутейн не забыл «Полет чайки»... Мысли мои возвращаются к Эмутейну, к его неудовлетворенности собой. И вдруг меня осеняет: воспоминание о Наукане! «Воспоминание о Наукане» — вот танец, который он может, обязан сочинить! Ведь когда так долго и самоотверженно служишь какому-то делу, должна быть, наконец, награда, даже если не ждешь, не надеешься на нее. Ведь не исчезает же без следа такая любовь, и то горячее чувство, которое носишь в себе, рано или поздно, а неизбежно выльется — в слове, звуке, движении, образе... Я уже представляю, как он выходит впереди хора, один или с целой группой танцоров... И будет в этом танце все: как солнце встает над скалой Серая чайка, как впервые после зимы спускают с обрыва байдары и они сами скользят вниз по наметенному снеговому склону, как танцуют с гостями на кругу для состязаний, как мокрый Умка плавает посреди моря и как уходит из Наукана насовсем последний вельбот и, оборотясь, смотрит назад последняя покидающая его семья... «Воспоминание о Наукане»... Обязательно надо сказать Эмутейну, — бормочу я. — «Воспоминание о Наукане»...

Апрель 1976 года



## ОСТРОВ И ЗАПОВЕДНИК

### I

Я опять ехал в Уэлен, точнее, опять намеревался добраться до Уэлена, но прежде хотел побывать в заливе Креста и на острове Врангеля. Все это расположено отнюдь не по пути, а в разных углах Чукотки, и если соединить эти пункты между собой на карте, получится весьма внушительный треугольник с далеко отстоящими друг от друга вершинами. Кроме того, мне надо было в Магадан...

После полуденной тридцатиградусной красноярской жары Магадан встретил очень прохладным и туманным утром. Во влажном воздухе ощущалось обилие недавно прошедших дождей. Шофер, подвозивший меня до города, подтвердил, что дождей и правда было немало. «Двадцать лет живу в Магадане, но такого сырого лета еще не видывал!» — сказал он. Бетонное покрытие трассы, камни на склонах, стволы деревьев, трава в долине — все словно отливало глянцем. Зелень лиственниц казалась сероватой от влаги. Речка Дукча, время от времени возникавшая сбоку дороги, была мутной и выглядела более стремительной, чем обычно. Или я просто давно ее не видел?.. А только что, когда приземлялись, за иллюминаторами очень долго рвалась и не

могла разорваться белая мгла, потом сквозь эту воздушную, призрачную белизну стала мелькать иная, плотная, сбита, «материальная» — пятна снежников на сопках, и, наконец, открылась внизу тундра со своими особенными озерами, налитыми черной водой всклень, и эта же черная вода, не удержавшись в границах озер, будто просочилась, растеклась под землей, напитала тундру так, что, казалось, стоит надавить легонько на ровный зеленовато-бурый покров, и тут же она проступит... Около города, только начали спускаться с перевала «Подумай», снова посыпал дождь, а может быть, он здесь, вблизи моря, и не переставал, и мы въехали в него...

Все это навело меня на естественные и беспокойные размышления: какова же погода на самой Чукотке? Из Москвы я смог вылететь лишь в середине июля. Еще какие-нибудь две недели, и быстротечное чукотское лето кончится, а с ним сведется до минимума и благоприятная возможность для передвижения. Мне же, по предварительным подсчетам, предстояло проехать по Чукотке около десяти тысяч километров. Первоначальный мой план был — от Магадана продвигаться постепенно на север: Анадырь, залив Креста, Иультин, мыс Шмидта, остров Врангеля... Теперь я сообразил, что разумнее всего забраться сразу как можно севернее и оттуда спускаться к югу.

В Магадане, едва обосновавшись в гостинице, я отправился в Институт биологических проблем Севера и в какой-то комнатке на третьем этаже, заставленной колбами и провонявшей химреактивами, отыскал своего старого знакомого Мирона Марковича Этлиса. Наверное, это была не его комната, ибо Мирон занимался исключительно человеком, точнее, психологией человека, оказавшегося в экстремальных условиях Севера,

и зачем ему были реактивы. Мирон приютился за маленьким столиком под настольной лампой и что-то писал своим чудовищным гигантским почерком, при котором ему одной страницы хватало на несколько слов. На вопросы, когда, зачем и надолго ли приехал, у него обычно уходят секунды, а затем, без предисловий, будто мы вчера только прервали наш разговор, начинается то, что я называю «страсти по Мирону»: выкатывая на меня яростные глаза с желтоватыми белками и надвигаясь вместе со стулом, перемежая такие слова, как «экология», «биосфера», «психогигиенический аспект», «интолерантность» и т. д., со словечками, вовсе далекими от науки, он продолжает излагать мне проблемы научного, психологического подхода к освоению Севера... Но здесь надо отступить и рассказать немного об институте.

Это старое здание, недалеко от театра, на углу улиц Карла Маркса и Дзержинского, было мне знакомо с 73-го года, когда я по договоренности с журналом «Вокруг света» работал над очерком об адаптации человека к Северу. Тогда этот институт лишь год как существовал. Идея его создания принадлежала академику, Герою Социалистического Труда Николаю Алексеевичу Шило, возглавлявшему в то время Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (СВКНИИ). Сам Николай Алексеевич начинал здесь когда-то молодым геологом, бродил, вдохновленный примером Ю. А. Билибина, с рюкзаком и молотком по колымским тропам... Кстати, всего за несколько дней до моего приезда Магадан отпраздновал 50-летие 1-й Колымской геологической экспедиции, руководимой Билибиным. Со всего Союза собрались ветераны-первопроходцы, на месте высадки экспедиции, на Охотском побережье в районе Олы, установили в честь этого со-

бытия памятную стелу. 4 июля 1928 года... Да, активное освоение этого края началось с открытия геологов, и не удивительно поэтому, что первым крупным научным учреждением, созданным в Магадане в 1948 году, стал Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов. Была самая прямая и накоротко замыкавшаяся связь науки с горнодобывающей промышленностью. Однако народное хозяйство области развивалось, дифференцировалось, возникали новые отрасли промышленности, быстро увеличивалось население, росли масштабы строительства, и все это требовало научных исследований, обоснований, рекомендаций. Как следствие этого, в 1961 году в Магадане был создан Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт АН СССР, где рядом с геологами стали трудиться географы, мерзлотоведы, экономисты, историки и археологи. В сельском хозяйстве области, помимо традиционного оленеводства и морской охоты, появились новые для Севера направления, вплоть до земледелия, — и в 1970 году начал действовать Магаданский зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока. И то, что, наконец, возникла, почувствовалась необходимость в создании института с биологическим профилем, было логическим развитием все той же идеи — научного обеспечения освоения края, но освоения на ином, более современном уровне. Поначалу — это было в 68-м году — при СВКНИИ был образован отдел биологии с тремя направлениями исследований: ботаника, зоология, человек. Человек на Севере, разумеется... А через несколько лет, в 72-м году, этот отдел превратился в самостоятельный институт, ИБПС, или, как его полностью величают, Институт биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР...

Замечательно то, что институт с первого дня существования одной из самых основных своих задач сознал изучение и решение проблем охраны окружающей среды в условиях Севера, и непосредственно в Магаданской области. И сразу выступил с конкретными предложениями. Тогда же, в 73-м году, будучи в Магадане, я познакомился с двумя только что изданными здесь небольшими брошюрами. Одна из них называлась «Состояние охраны природы в Магаданской области» и была написана заведующим лабораторией ландшафтоведения и охраны природы Алексеем Петровичем Васьковским. Начиналась она решительно: «В пределах Крайнего Северо-Востока СССР, и в частности в Магаданской области, наблюдаются почти все недостатки и просчеты в деле защиты природы, отмеченные в постановлении Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. Их отрицательные последствия усугубляются здесь суровыми климатическими условиями, делающими ландшафты и биоценозы более уязвимыми при неосторожном воздействии на них, предпринятом даже с самыми лучшими намерениями...» И так далее — сжато, убедительно, с цифрами, фактами... Вторая брошюра являлась как бы органическим продолжением первой и содержала обоснованные предложения по организации заповедников и природных парков в Магаданской области. Вместе с Васьковским ее подписал директор института, член-корреспондент Академии наук В. Л. Кондримавичус. Заповедники предлагалось распределить на территории области с таким расчетом, чтобы представить в них и сохранить все характерные для Северо-Востока ландшафтные зоны, уникальную фауну и флору...

Тут, мне кажется, — чтобы по-настоящему оценить все значение и смысл этих начинаний, — следует вспом-

нить, что взаимоотношения человека с природой Севера всегда были особенными, в них всегда присутствовало стремление человека преодолевать, покорять и побеждать. Взаимоотношения эти вполне понятны, исторически объяснимы, сложились давно, еще со времен героических походов и экспедиций первых землепроходцев и полярных исследователей, кончавшихся нередко поражением и гибелью человека, но тут и поражения способствовали конечной победе, — и эти отношения в почти неизменившемся виде сохранились в человеческом сознании до наших дней. Ведь все мы, особенно за последние годы, успели проникнуться прекрасной идеей охраны окружающей среды, она стала для нас аксиомой, вошла в наши повседневные заботы, мы, естественно, считаем, что это дело не только соответствующих специалистов и организаций, но и каждого человека, что это дело не только государственное, но и всечеловеческое. Мы привыкли, что в прессе время от времени появляются статьи энтузиастов с призывами защитить, сберечь, оградить от гибели какое-то редкое по красоте место, лес, речку, озеро. И хотя мы в жизни не видели и, может быть, не увидим этого места, но мы разделяем их тревогу, волнуемся вместе с ними, справляемся, какие приняты меры... За эти годы мы могли заметить, что география таких мест, «география тревоги», если можно так выразиться, постепенно расширялась, начинаясь от центральных районов, перемалывала Урал, распространялась по Сибири. Скажем, от давних выступлений Паустовского по поводу Мещерского края, находившегося у нас под боком, до не столь давних многочисленных статей и даже фильмов в защиту Байкала. Или совсем недавний роман В. Астафьева «Царь-рыба»... То есть тревогу вызывали места, в общем-то освоенные и теперь легко доступные

для человека. И лишь Крайний Север до самого последнего времени продолжал казаться, да и сейчас, я знаю, многим кажется каким-то отдаленным заколдованным замком с неприступными ледяными стенами. Слишком долго человек полагал, что «суровой и могучей» северной природе ничего не делается, что она в состоянии сама постоять за себя и не «беречь», а по-прежнему подчинять ее надо, потому что тут борьба «или—или»: или человек — или природа, и природа в этой борьбе порой казалась неуязвимее и сильнее...

И вот обнаружилось вдруг, что все-таки уязвимее, слабее. Что дикая и бескрайняя тундра очень долго не может зажить оставленный вездеходом или трактором след, да и не такой уж кажется она дикой и бескрайней, когда с вертолета видишь этот след, множество следов, рассекающих ее от горизонта до горизонта... Что срубленное дерево, в руку всего толщиной, выросло, оказывается, сотню лет... Что реки с такой чистой, прозрачной водой легко и надолго мутнеют и загрязняются... Что стая птиц, казавшаяся неисчислимой, в один прекрасный день может вообще не прилететь... Что с виду такой могучий и грозный белый медведь, на самом деле, беззащитен... И уж совсем беззащитно самое огромное, самое, безусловно, мощное и величественное животное, этот эталон гармонического слияния организма со средой своего обитания — кит, да, беззащитен и очень уязвим, как это читатель может узнать из книги «Кит на заклятие» канадского писателя Фарли Моуэтта...

Грустная какая-то получается закономерность: чем девственнее, чище, чем могучей и суровой, тем, выходит, и уязвимее, тем и беззащитней... И еще одна закономерность явно видна: идея охраны природы всегда, в конечном счете, сопутствовала человеку в освоении

земных пространств, но, что ж скрывать, обычно она все-таки запаздывала, отставала от человека, возникала после «покорения». И если уж эта идея настигла человека здесь, орудующего на самом краю, как говорится, ойкумены, то можно теперь надеяться, что в дальнейших своих начинаниях человек пойдет уже рука об руку с этой идеей, а еще лучше, органически слившись с этой идеей, и что совсем было бы прекрасно — органически слившись с самой природой...

Ибо понятие «охрана природы», если вдуматься, предполагает пока заведомую разъединенность, разобщение природы и человека, только начало союза с ней, но никак не гармоническое единение. Кто будет охранять? Человек. От кого? Да от себя же, от своего слыхом активного вторжения! Ведь само собой разумеется, что, когда не было человека — по крайней мере, в современном его понимании, — не стоял вопрос и об охране природы, природа, видимо, сама справлялась, своими силами... Та же изолированность человека сказывается и в употреблении им выражения «окружающая среда», «охрана окружающей среды» — человек ощущает себя не в среде, а именно в «окружении» среды, не включенным в нее, и «охранять» ее он намерен, по-прежнему оставаясь вне природы, по-хозяйски озирая эту природу со своей эволюционной вершины, как со сторожевой башни... Как хотите, а мне мерещится в этом нечто еще покровительственное... Но тут самое время вернуться в институт, к Миرونу Марковичу, потому что эта тема — любимый его конек.

2

...«ЧИБ» — как произносит он обычно. Что означает: человек и биосфера... И еще «АЧ» — адаптация человека. Так я и не спросил у него, что это — жаргон или общепринятые сокращения?..

Несколько лет назад, когда я познакомился с ним, он сидел в маленькой комнатке института, на которой как раз и было написано: «Адаптация человека». По забавному и, видимо, случайному совпадению напротив его комнаты была дверь с табличкой «Адаптация одноклеточных»... Прямая специальность Мирона — врач-психиатр. До Магадана жил и работал в Москве, ездил на «скорой помощи». Что это за помощь? Да вот, например, однажды пришлось снимать человека с карниза, на Ленгорах, на высоте двадцать какого-то этажа. Неведомо, что произошло с человеком, что ему померещилось, но вылез на карниз и стоял, будто завороженный... Как, наверное, сапер остается наедине с заряженной миной неизвестной ему системы, и малейшее неверное движение будет стоить ему жизни, так и Мирон остался один на один с этим загадочным, до предела взведенным человеческим сознанием, и точно так же неосторожный жест, слово, даже неверная интонация могли обернуться трагически, а то и вдвойне трагически, потому что Мирон, чтобы войти в контакт с тем человеком, тоже вылез на карниз. Снял...

В Магадане он уже лет десять, а в институте — с самого его начала. «Человеком на Севере» до недавних пор занимался практически он один. Уйдя в науку, своему интересу к экстремальным ситуациям Мирон не изменил. Только если раньше, будучи врачом, он имел дело с экстремальными состояниями, так сказать, в душе человека, то теперь изучает его в экстремальных внешних условиях — условиях Севера. Выезжает в «поле», живет подолгу в маленьких национальных и больших рабочих поселках, наблюдает, анкетировает. Начал с моего родного Чукотского района, жил в Уэлене и Инчоуне, написал работу «Психогигиеническая ситу-

ация в Чукотском районе». С тех пор собрал массу фактического материала, теоретически обобщил и выдал практические рекомендации. А вот диссертацию не написал. «В институте я — самый старший эмэнэс», — констатирует Мирон с грустноватым юмором... Говорят, что некогда Маркс в шутку отозвался о нашем народнике Петре Лаврове: «Он слишком много читал, чтобы что-то знать». Так вот, о Мироне я бы сказал, что он слишком много знает, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Кроме того, он слишком одержим наукой и, в основном, ее практическим приложением, чтобы отвлечься на теоретическую работу. Его всегдашний девиз: «Полагать одну основу для науки, а другую для жизни — есть ложь». Зато великое множество всевозможных научных публикаций, докладов на симпозиумах, журнальных и газетных статей. Поскольку адаптация человека к Северу есть процесс, связанный с его повседневной жизнью, то и Мирон по роду своих занятий должен вникать во все стороны этой жизни: работа, быт, культурные условия, географические условия — короче, все то, что обозначается словом «среда». «Биоантропосоциосфера» — как он говорит. Помню, как он поразил меня в начале нашего знакомства определением, что такое архитектура. Известное туманное и поэтическое сравнение «Архитектура — это застывшая музыка» он перефразировал так: «Архитектура — это застывшая модель социальных взаимоотношений». Да, кажется, он сказал: «Застывшая на многие годы...» Я не сторонник таких категорических экстраполяций, архитектура не «модель», равно как и не «музыка», она, видимо, нечто самостоятельное, если говорить об искусстве, но я понял, что Мирону это определение нужно было для его работы. Рабочее то есть было определение... Или вот такую, довольно расплыв-

чатую, выраженную в самых общих словах вещь, как «воспитание в человеке северного патриотизма», которую большинство из нас расшифровало бы примерно так: «Ну привить ему любовь к неповторимой природе Севера, и вообще...» — Мирон опять трактует на свой лад и конкретно: это формирование в человеке прежде всего специфически северного экологического сознания...

Еще заинтересовал меня Мирон Маркович при нашем знакомстве тем, что внешне очень не походил на представителей той научной магаданской интеллигенции, с которыми мне приходилось иметь дело раньше. Были это, в основном, геологи, здоровые, уверенные в себе ребята, и эта уверенность усугублялась в них сознанием привилегированности своей профессии здесь, в открытом геологами крае. С весны они отправляются в «поле», честно, своими ногами копытят Чукотку, зимой в институте обрабатывают материалы, многие что-то открыли, выстрадали какую-то идею, защитились. И обязательно спорт: штанга, борьба, десятиборье, горные лыжи — и в спорте они тоже кое-чего достигли: перворазрядники, мастера спорта. И все у них «железно» распределено, рассчитано: время на работу, время на тренировки, время на книги, а отдых — в смене занятий. Суббота и воскресенье обязательно отданы походам за город... Словом, самый что ни на есть современный тип молодого ученого, да еще в романтическом северном исполнении... А Мирон предстал невысоким, с полнеющей мешковатой фигурой, с толстыми выпуклыми стеклами очков, сползающих на нос, и этим характерным потеряннным взглядом поверх очков с одновременным наклоном головы. Тоже, конечно, типичная наука, «профессор, сымите очки-велосипед», но ведь не для Магадана?! Да и занятие его выглядело как-

то сомнительно здесь, среди пионеров, таежников, бродяг по натуре, «землепроходимцев», как остроумно выражается один мой знакомый, здоровенных мужиков, которые и в снегу могут ночевать, и по лесотундре прут, как лоси, и пресловутый чистый спирт — но где он, спирт?! — пьют неразведенным, — в этом «гнезде», пользуясь словами Николая Васильевича Гоголя, откуда они вылетают на полгода в отпуск на материк, «гордые и крепкие, как львы». АЧ... Какие ему еще рецепты психадаптации, когда он и обычный аптечный рецепт забыл как выглядит!..

Но Мирон объяснил мне, что программа АЧ — это только начало, самый низший уровень, на котором мы еще вынуждены выделять две модели: модель субъекта и модель среды, а в перспективе надо думать о ЧИБ, где человек и биосфера будут рассматриваться в единой системе, приведенной в равновесное состояние... Увлекаясь, Мирон начинает говорить и мыслить как бы рвано, опуская всякие там, привычные нам в рассуждении, фигуры и модусы силлогистики, выдает готовые тезисы. Поначалу он еще спрашивает изредка: «Понятно я говорю?» — а потом перестает и спрашивать. Куда тогда девается потерянный взгляд из-под очков — Мирон закипает. «Необжитость Чукотки — миф! Развеешь!.. Чукотка обживалась тысячи лет... Мамонты исчезли не только из-за перемены климата, но и охоты... Мы сейчас в основном имеем в виду приезжих, но не надо забывать о коренных... Нужно выяснить с помощью этнографов те психологические изменения, которые произошли здесь за эти тысячи лет... Во взаимоотношениях с природой... Это очень важно! Их отношение к природе — без излишних эмоций и романтизации. Это — их дом... Наша профессиональная задача — понять и удержать все лучшее, что возник-

ло... Может, и так называемые «пережитки»!.. А тех, кто приезжает, — отбирать. Тестировать... Чтоб не было случайных... Чтоб не стоял миграционный вопрос... И охрана природы... Случайные, временные на Севере люди — это бандиты по отношению к природе! И уйти от примитивной биологизации в ситуации «человек и природа»... Не тот уровень!.. Нашу лабораторию уже не интересует, сколько времени человек может прожить в одиночестве. Это культуризм в ситуации «человек и природа»! Я понятно выражаюсь?.. Нам важна психология человека, прочно осевшего на Севере, работающего в коллективе... Мы должны планировать социальное развитие таких коллективов! Без науки это невозможно... И в идеале решать в системе ЧИБ, воспитывать экологическое сознание... Это перерастает в проблему мировоззренческую! Лаборатория АЧ в институте — пока эмбрион... Должен быть отдел экологии!.. Понятно я говорю?»

Утверждают, что профессия накладывает отпечаток на человека. В таком случае Мирон со своими исследованиями экстремальных ситуаций — сам человек экстремальный. А может быть, наоборот — взрывчатый его темперамент сыграл свою роль в выборе профессии... Тут не решишь. Идеи распирают его. В школе на уроках физики нам демонстрировали опыт. Сосуд с холодной водой помещали под стеклянный колпак, из которого выкачивали воздух. И вода вдруг закипала... Ничего зримого для глаза вроде не произошло, а сосуд бурлит. Слушая и наблюдая Мирона, я всегда вспоминаю этот опыт. Только что шел по улице, смотрел на магаданцев — адаптированные они или неадаптированные, кто их знает? — но, кажется, вполне нормальные, спокойные люди, вон капусту покупают, черешню и яблоки, объявившиеся в магаданских магазинах, цвет-

ной телевизор человек грузит в такси, а тут Мирон неистовствует в своей комнатке. У него свое внутреннее давление... Может быть, без этого вообще нет смысла заниматься наукой?.. Во всяком случае, я в его речах услышал то, о чем и сам думал: в процессе взаимоотношений человека и окружающей среды, в зародившемся стремлении охранять природу должно все-таки исчезнуть противоречие человека и природы и образоваться их гармоническое единение... Иными словами: «Природа только там хороша, где освящает ее довольствие человека, где он и сам равен красоте роскошной природы». Именно — «где он и сам равен...».

Но в этот мой приезд Мирон был грустен и тих. Жена второй месяц болеет, вреден ей, говорят врачи, магаданский климат, тот самый, который включается в «экстремальные условия». Сам Мирон весь в домашних заботах: дочка четырех лет, меланхолическая собака Берта, ремонт квартиры... Из институтских новостей самая важная: только что создана лаборатория экологических проблем народонаселения Севера, именно та лаборатория, «эмбрион» которой Мирон когда-то себя полагал. Со штатом в семнадцать человек: демографы, социологи, медики... «То есть впервые у нас в Союзе, — обратил мое внимание Мирон, — над этими проблемами будут в комплексе работать общественники и естественники...» Но меня сейчас интересовало другое. Я ехал на остров Врангеля и знал, что ИБПС уже несколько лет проводит там свои работы. В марте 76-го года на острове Врангеля — и в этом немалая заслуга института! — была, наконец, учрежден заповедник, первый и пока единственный заповедник в Магаданской области, а в силу своего арктического месторасположения — и уникальный в системе заповедников нашей страны. Я хотел познакомиться с людьми, которые там

бывали и работали. Мирон тут же свел меня с зоологами — Феликсом Чернявским и Анатолием Ткачевым.

Феликс Борисович — кандидат биологических наук, зав. лабораторией зоологии позвоночных. Анатолий Владимирович — доктор медицинских наук, руководит лабораторией нейроэндокринных регуляций. Обоим по сорок—сорок с небольшим лет — возраст, характерный для большинства магаданских ученых. С Феликсом Чернявским я заочно был уже знаком, зимой получил от него его книгу «На острове арктических соковок», выпущенную Магаданским издательством, в которой речь шла как раз о животных острова Врангеля. Феликс занимался белыми медведями, песцами, леммингами, белыми гусями, участвовал в экспедиции, которая исследовала, пригоден ли остров для акклиматизации овцебыков, завезенных, как известно, впоследствии с Аляски... Обо всем этом он и рассказал широкому читателю с увлечением специалиста, знающего свой предмет досконально, и по-писательски просто хорошо. Я еще подумал с отрадой, что если бы каждый человек умел бы вот так интересно поведать о своей работе, а в широком смысле — о своей жизни, то отпала бы необходимость в такой узкой и в общем-то нелепой специализации человека, исключительно пишущего... Сейчас Чернявский и Ткачев коротко посвятили меня в суть исследований, которые проводили их лаборатории на острове, сказали, где там кого разыскать и к кому обратиться, познакомили, словом, с «островной ситуацией», а Ткачев снабдил еще дорожным чтением — оттиском своей последней статьи «Роль нейроэндокринных факторов в саморегуляции численности популяции»...

...Да, сколько раз зарекался я — не писать очерков «на тему!»... Но попробовать обратиться к прекрасному и свободному старинному жанру записок путешественника... Какие тут образцы! Карамзин — «Письма русского путешественника»... Пушкин — «Путешествие в Арзрум»... Александр Фомич Вельтман — «Странник»... Нынешним изобретателям новых форм повествования и глав размером в несколько строк я советовал бы заглянуть в «Странника» — там есть глава, состоящая из двух всего слов: «Нет ее»... Да мало ли! «Героя нашего времени» Лермонтова и «Казаков» Толстого я тоже отношу к этому жанру, ибо всякое путешествие — есть прежде всего путешествие души... «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться! О сердце, сердце! кто знает, чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов?» Вот так надо писать!.. Или: «Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего...» Конечно, при тогдашней многодневной неспешной езде на почтовых, когда возникали перед тобой, сменяя друг друга, все новые и новые пейзажи: обрывались леса, разворачивались степи, вставали нео-



жиданно громады гор, было время и повспоминать, и подумать, как жил, и построить замки...

Ну а теперь другая стала езда, другие стали путешественники. Не опыляют свечи под утро, не переминаясь у двери сонный лакей с известием, что ямщик не хочет больше ждать. Не поднимаются с друзьями последние бокалы, не выбегаешь и не падаешь в сани, давась от приятных слез... В глухой предрассветный час пробуждает тебя треск будильника, пьешь наскоро кофе, чемодан уложен с вечера, посреди пустынного проспекта ловишь такси, мчишься на аэровокзал. Еще час с лишним в автобусе и сразу в самолет. Невыспавшийся с гудящей головой ждешь поскорее взлета, чтобы заснуть. Спишь ли, дремлешь, скорчившись в кресле, но приходишь в себя — что это? За иллюминатором яркий свет низкого солнца, как всегда, особенно режущий и слепящий глаза здесь, на высоте, — неужели все рассвет? Нет, это уже вечер, летишь-то против солнца, и время накатывается тебе навстречу. На стоянке в Красноярске почти автоматически подходишь к киоску в зале ожидания и спрашиваешь значок города Красноярска — сколько раз пролетал здесь, столько у тебя и значков. Затем слоняешься мимо кресел, то и дело выходишь на улицу, оглябая здание аэропорта, чтобы зайти в него с другой стороны, и слушаешь радио — не твой ли рейс? Опыт предыдущих полетов говорит, что могут и отложить, и среди лета случается непогода по трассе, но — слава богу, объявляют... Проходя на посадку, бездумно скользишь взглядом по хорошо знакомому, сто раз виденному плакату со стюардессой и призывом экономить время, пользоваться услугами Аэрофлота и как-то вдруг по-новому и неожиданно воспринимаешь примелькавшиеся слова. И, снова уносясь за облака, продолжаешь размышлять, твердить се-

бе машинально: «Экономьте время... экономьте время... А что же нам делать с этим сэкономленным временем, и вообще — возможно ли его сэкономить, накопить постепенно в какой-нибудь специальной сберкассе, чтобы потом, когда почувствуешь, что оно иссякает, твое время, и наступает тот самый, пресловутый «черный день», пойти и снять, продлить себе еще лет на десять?!» Что-то во всем этом не так, не до конца ясно, надо бы еще поразмышлять, но тут к тебе наклоняется сосед: «Так ты в Анадыре будешь?» Слышал, наверное, когда стюардесса собирала сведения. «А у меня там как раз двоюродный брат! Будь другом, зайди, — он называет фамилию и адрес, — передай ему, что Николай возвращается. Я то есть... Он поймет... Он там строителем. А я с Оротукана, по трассе, знаешь? Был в отпуске, хотел с концами, да вот опять еду. Все-таки уже шесть надбавок, жалко, ну и вообще...» И вот тут-то, пока Николай с Оротукана говорит, как-то окончательно осознаешь, будто заново вспоминаешь, что летишь на Север. Опять на Север...

Но и теперь не переносишься мысленно к цели, не строишь замков будущего путешествия, потому что они уже построены однажды ночью в Москве, когда вдруг очнулся с томительным ощущением только что привидевшегося сна. И в это время, пока лежишь в темноте с открытыми глазами и доходит до тебя, что в твоём сне действительно сон, а что самая настоящая явь, и в какой степени они дополняют и стоят друг друга, в этот момент потихоньку толкается вроде бы посторонняя мысль: «Поехать... Съездить... Ну хотя бы еще раз, последний...» Потом долго не спишь, представляешь все те места, бывшие и возможные новые впечатления, лица друзей, разговоры... Наутро, опять проснувшись, смутно чувствуешь нечто важное, происшедшее в те-

бе за ночь, и вспоминаешь — что, и с крепнувшей уверенностью подтверждаешь себе: «Да-да, ехать!» После чего твоя жизнь, помимо отвлеченного и, разумеется, высокого, наполняется еще конкретным, близким, сиюминутным смыслом: идти в Союз писателей, убедительно излагать, зачем тебе нужна командировка на Чукотку и почему именно на остров Врангеля и в Уэлен, что на острове Врангеля «родильный дом» белых медведей и овцебыки, а в Уэлене «известная всему миру косторезная мастерская»... И во все эти дни формальностей и сборов продолжают строиться, разрушаться и вновь возводиться те самые замки... В самолете же, повторяю, — впрочем, может быть, это мое сугубо личное впечатление, — будто выключаяешься из жизни. Все, что касается будущего, замерло в расплывчатом, туманном определении: «Вот прилечу, тогда...», оставленное прошлое еще более неясно и отдалено: «Вот вернусь, и тогда...», а настоящего как бы вовсе нет. Решаешь ли кроссворд в старом журнале, не припомнив, как всегда, реку в Южной Америке, пьесу Горького и областной центр в РСФСР, — «Может, Магадан?! — сверкает догадка. — Нет, не подходит...» — читаешь ли специально захваченную в дорогу книгу, ничто не ложится на душу, не будит ни мысли, ни чувства, и взору не на чем остановиться: за иллюминатором опять слепящая пустота, усталая понизу непроливаемым покровом облаков...

Но вот и Магадан, и при виде знакомых очертаний сопки — сопки 57-го километра — становится как-то спокойно, будто приехал окончательно и никуда больше не надо торопиться. Просторное, пронизанное светом здание нового аэропорта, на каменной плите пола, против входных дверей, золотистой проволочкой выписана дата открытия: 5. XII. 73. Я ловлю себя на том,

что напрочь забыл, как выглядел старый, — совсем старый, на тринадцатом километре, помню, а здесь — никак не могу представить... Июль, народу в залах ожидания немного, желающих улететь на Анадырь просят подойти к регистрационной стойке. Желающих!.. Через какой-нибудь месяц-полтора этих «желающих» наберется столько!.. Мне надо в Анадырь, но прыгнуть сейчас еще на полторы тысячи километров — это значит просто не осознать, не прочувствовать такой дороги. Так называемая экономия времени, к которой призывает Аэрофлот, может быть, необходима человеку деловому, но совсем не нужна путешественнику, ибо путешествие по природе своей, по самому звучанию этого слова: путешествие, — должно быть размеренно, неторопливо и обстоятельно. И при современных скоростях все-таки сохраняется, если не обостряется потребность в старинной неспешной езде. Поэтому хотя бы на несколько дней, но в Магадане обязательно надо остановиться, перевести дух, оглядеться, возместить украденное самолетом время, пространство и ощущение дороги, помыслить себя в новом состоянии, приуготовиться к Северу, то есть совершить все то, что в прежнем путешественнике происходило само собой, естественно и постепенно...

Но в Магадане, как я говорил, я вдруг обнаружил, что времени-то у меня в обрез, и потому на следующий день уже летел дальше, в сторону острова Врангеля. К вечеру я очутился на мысе Шмидта.

#### 4

Мыс Шмидта, резко выступающий в море, назывался чукчами Рыркайпий — Моржовый. На русских картах значился как Северный. После известной экспеди-

ции 1933—1934 годов на пароходе «Челюскин», возглавляемой полярным исследователем профессором О. Ю. Шмидтом, мыс был переименован в его честь...

Я попал сюда впервые. Место показалось мне довольно унылым, главным образом из-за того, что сопки, единственное украшение пустынного северного пейзажа, отступили тут от берега очень далеко. В близком море, возле горизонта, отчетливо и прочно утвердился мираж — скопления светлых прямоугольников, которые все находят очень похожими на кварталы современного города. Что же касается реального поселка, на берегу, то он выглядит не столь нарядно: коробки домов монотонного серого цвета на голой серой земле. К тому же — обильная летняя пыль... Как сказали бы мои магаданские друзья, «типичный антропогенный ландшафт без каких-либо биогенных компонентов». Шофер райкомовской машины Саша в ответ на мое первое впечатление согласился: «Да, красивого мало... — Но тут же бодро возразил: — Зато у нас — миражи!»

Шмидтовский район образовался недавно, три года назад, объединив частично территории Чаунского и Иульгинского районов. Так что сейчас это самый молодой район Чукотки и перспективный в промышленном отношении. Недалеко от мыса Шмидта находится знаменитый в Магаданской области полярный горно-обогатительный комбинат. Зав. промышленным отделом обкома КПСС Валентин Васильевич Лысковцев, с которым я успел встретиться в Магадане, сказал, что необходимость создания нового района была продиктована именно перспективами, открывшимися в этих местах перед горнодобывающей промышленностью, чтобы, так сказать, ускорить... Развита в районе и основная отрасль сельского хозяйства Севера — оле-

неводство. В двух его совхозах — имени В. И. Ленина и «Пионер» — около тридцати тысяч оленей. Остров Врангеля также относится к Шмидтовскому району, и, следовательно, район может гордиться первым в области заповедником. Секретарь райкома партии Герман Васильевич Станкевич, узнав, что я еду на остров, сразу заговорил о врангелевских оленях. Об этой проблеме я уже был наслышан.

Дело в том, что изначально оленей на острове не было, их завезли с материка в конце сороковых годов — небольшое стадо, голов сто пятьдесят. Остров порядочный, около 800 тысяч га, пастбища отличные, условия выпаса идеальные: овода на острове нет, волков нет. В таких условиях олени быстро размножились. Ведал ими сначала колхоз, а до последнего времени — отделение совхоза «Пионер», находившееся на острове. С образованием заповедника отделение совхоза, естественно, ликвидировали, пастухи уехали на центральную усадьбу, в Ванкарем, а олени остались... И как раз недавно, в последних числах июня, в «Магаданской правде» появилась статья «Беспризорный олень», написанная сотрудником шмидтовской районной газеты «Огни Арктики» В. Земляникиным. Автора статьи беспокоило, что врангелевский олень теперь предоставлен самому себе, племенной работы с ним не ведется, кастрацию и выбраковку производить некому, просчет стада не делается, а уж об окарауливании и говорить нечего. И вообще заповедник намерен всех оленей на острове известить!..

Статью я прочел еще в Магадане и вместе с автором возмутился — как так: заповедник, охрана природы, а оленей вдруг известить?! Вернее, не возмутился, а пришел в недоумение: не может этого быть, что-то здесь, наверное, не так. Но зайдя к директору ИБПС

В. Л. Контримавичусу, я встретил у него в кабинете директора заповедника Василия Федоровича Примакова. В Магадан он приехал по делам и, как выяснилось, в основном из-за оленей. Почему-то он очень обрадовался, что на остров едет писатель, обещал в скором времени следом за мной и там, на месте, обо всем подробно поговорить. «А пока, — горячо и серьезно сказал он, — я хочу, чтобы вы запомнили главное. Аксиому заповедника на сегодняшний день, аксиому № 1. Заповедник, конечно, уникальный. Фауна, флора... А олени эту уникальность портят! Местные власти за то, чтобы их сохранить. А мы за то, чтобы изъять. Семь тысяч голов, и почти безнадзорные. Оленеводов у нас всего двое. Олени числятся на заповеднике. С ними надо работать. А в положении о государственных заповедниках записано, что в них исключается всякая хозяйственная деятельность! В общем, — заключил Василий Федорович решительно, — вопрос стоит так: или олени, или заповедник!» Вечером из гостиницы я позвонил домой Феликсу Чернявскому — узнать, а что он думает об оленях. Феликс сказал, что не решил еще для себя этой проблемы. С одной стороны, олени — особенно в таком количестве — конечно, причиняют заповеднику вред. Вытаптывают, уничтожают растительный покров и т. д. С другой стороны, олень тоже животное Севера, как же заповеднику без него? Ссылаются, что оленя на острове не было, что он завезен. Но ведь и овцебык завезен! Чтобы, как говорится, заполнить пустующую экологическую нишу... Для чего же, заполняя одну экологическую нишу, мы должны опустошать другую?.. С тем я и отбыл из Магадана.

В довершение всего я услышал про оленей острова Врангеля, едва прилетев на мыс Шмидта, тут же, в аэропорту. И про оленей, и про овцебыков. Я только что

сошел с самолета и пребывал в обычной для первых минут в незнакомом месте растерянности: может быть, вертолет в этот момент уже раскручивает винт на остров, а я теряю драгоценные секунды, а может быть, никакого вертолета не будет и надо бежать и забивать место в гостинице, и я опять теряю драгоценные секунды? И где тут гостиница?.. И вдруг мне показалось, что я услышал слово: овцебык!.. Я огляделся. На ступеньках аэропорта беседовали двое: один в зимней, несмотря на лето, шапке, в меховой куртке, брезентовых штанах и резиновых сапогах. Другой в шерстяном вязаном колпаке, в штормовке, затертых джинсах и тяжелых ботинках. И оба в очках, обросшие, с запущенными бородами, с обожженными летним северным солнцем лицами. Вид типично «полевой», но не геологический — у геологов наблюдается все-таки какая-то унификация в одежде. К тому же — померещившийся мне «овцебык»... Я подошел и, выяснилось, угадал. Один был Евгений Сыроечковский, сотрудник ИЭМЭЖ, Московского института эволюционной морфологии и экологии животных, кандидат биологических наук, орнитолог, другой — Владимир Вовченко, зоолог из лаборатории Чернявского, занимался овцебыками. Их-то и рекомендовал мне Феликс разыскать на острове Врангеля, а они, оказывается, уже возвращались оттуда...

— Ну и как там овцебыки? — первым делом спросил я.

— Никак, — неопределенно улыбнувшись, отвечал Вовченко.

— Позвольте, как это — никак?!

— Овцебыки пропали, — веско и загадочно изрек он.

— Пропали... Погибли, что ли?!

— Неизвестно... Может, погибли... А может, и не

погибли...— еще загадочнее стал говорить Вовченко.

Плохо понимая, я собирался задать очередной вопрос, но тут объявили рейс: Шмидт — Певек — Сеймчан — Магадан — и специалист по овцебыкам, к великой моей досаде, устремился на посадку. Он улетел тем самым самолетом, которым я прилетел. По счастью, Евгений остался: ему надо было ждать борт на Анадырь, чтобы оттуда лететь в Москву. Я надеялся спросить его. Час был довольно поздний, и мы пошли устраиваться в аэропортовскую гостиницу...

Гостиница именовалась не как-нибудь, а «Полюс». Кстати, тут был забавный момент. Евгений, привыкший, видимо, к сложности восприятия своей фамилии, так четко и так отдельно произнес ее: «Сыро... — и с некоторой паузой: — ...ечковский!» — что дежурная, догадливо поглядев на меня, сказала: «А вы, значит, будете Ечковский?» Нас поселили... Из Магадана я вылетел рано утром, день целый был в дороге, и весь мой дневной рацион ограничился стаканом кофе в сеймчанском буфете. Евгений тоже не успел поужинать. Единственная столовая неподалеку, конечно, оказалась закрытой. Я пошел к нашей дежурной, узнать насчет чаю или «хотя бы просто кипяточку», и по давно известному принципу «Дай закурить, а то так есть хочется, что ночевать негде!» разжился электрическим чайником, заваркой, куском хлеба и полбанкой тушенки. Стул, втиснутый между нашими койками, мы с Евгением превратили в стол, и вскоре уже сидели за чаем — без сахара, зато крепчайшим.

Евгений рассказал, что на остров ездит уже десять лет. Изучает белых гусей. Диссертация, которую он защитил, так и называется: «Экология белых гусей на острове Врангеля». В былые годы белые гуси селились по всему побережью Северо-Восточной Азии, вплоть

до устья Лены, теперь у нас в стране живут только на острове Врангеля, да и то от многочисленных прежде колоний осталась здесь лишь одна, в районе речки Тундровой. Еще белые гуси гнездуются в северо-западных, арктических районах Канады, отчего этот вид называют иногда «канадским». На зиму и наши, врангелевские, и «собственно канадские» белые гуси улетают в Калифорнию... Этих гусей я видел лет десять назад, когда жил в Уэлене, и, что греха таить, охотился на них. Правда, я не подозревал тогда, что их так мало, и они еще не были внесены в Красную книгу... Это очень красивая, белоснежная птица с черными окончаниями крыльев, с крупной головой на коротковатом мощном столбе шеи, да и все ее сложение, несмотря на средние размеры, производит, я бы сказал, впечатление скорее атлетического, нежели изящного... Конечно, я не знал тогда ничего об их образе жизни — как узнал после из прекрасной книги американского орнитолога Пола Джонсгарда «Песнь северного ветра» и других книг — и думал, что они живут где-то рядом с Уэленом, в прибрежных тундрах. Потом я понял, что мимо Уэлена они пролетали, следуя своим древним ежегодным путем: весной с Американского материка через Берингов пролив, вдоль чукотского побережья, через пролив Лонга на остров Врангеля и осенью обратно...

Сыроечковский знал о белых гусях очень много, и знал не только из книг. Орнитологи приезжают на остров обычно в мае, поселяются в маленьком балке возле гнездовья, еще скрытого под снегом, и ждут прилета птиц. Уезжают осенью, в сентябре, когда последний гусь покидает остров. Так что вся жизнь колонии развертывается на их глазах... Часа два Евгений рассказывал удивительные вещи о повадках белых гусей, о том, как прилетают на остров первые пары, как с каж-

дым днем их становится все больше, как схватываются между собой самцы за место на гнездовье, как появляется в гнезде первое яйцо, как примерно до середины июня, пока не установится окончательно полярное лето, орнитологи пребывают в каждодневном страхе за гусей: вдруг вернутся холода, выпадет снег, разразится пурга... Я вообще понял, что работа ученых-орнитологов на гнездовье далека от безмятежной идиллии: казалось бы, наблюдай себе, любуйся, как они ухаживают друг за другом, подыскивают место для гнезда, как, отправляясь ненадолго пощипать свежей травки, гусыня заботливо прикрывает яйца сухой прошлогодней травой... Но ученым приходится еще быть свидетелями борьбы гусей за существование, и в этой борьбе они пока ничем не могут им помочь. Главные враги гусей — песцы, которые в это время во множестве собираются вокруг гнездовья. Воруя яйца, охотятся за молодняком. Взрослый гусь не слабее песца и, охраняя свое гнездо, не боится его, наоборот, песец избегает прямого столкновения с птицей. Евгений сам видел, как какой-то неосторожный песец, зашедший в середину гнездовья, рыча и огрызаясь, катался по земле, будто футбольный мяч, сбиваемый ударами гусиных крыльев. Но песец хитрее, прибегает к различным уловкам, отвлекает гусей от гнезда, отводит за собою по дальше, а потом кидается со всех ног к кладке... А как он уничтожает молодняк?! Птицы, едва поднявшиеся на крыло, не могут долго лететь, быстро устают, садятся, опять взлетают невысоко над землей, и песец, настигая гусенка, прыгает, хватая его еще в воздухе, душит и кидается за следующим... Как ученый-биолог, Евгений понимал «невиновность» песцов, понимал, что они такие же исконные обитатели острова и им так же надо кормиться самим и заботиться о потомстве, но

я почувствовал, что по-человечески он этих песцов просто ненавидел...

Нашим соседом по комнате был горняк из Иультина. Летел на материк в отпуск, две недели сидел в Иультине, ждал борт на Анадырь, наконец, вылетел и... из-за непогоды в Анадыре приземлился на Шмидте. Так что теперь он оказался от Анадыря еще дальше. Горняк к нашему приходу уже лежал в постели и собирался спать, но позабыл о своем намерении и тоже слушал — молча, но страшно внимательно.

— Колония у нас в Союзе — единственная! — продолжал Евгений. — И то тревожит, что численность гусей в последние годы сокращается. В 70-м году было примерно 150 тысяч. Сейчас — около пятидесяти тысяч... В 74-м году, например, пурга внезапно ударила, на трое суток! Гуси на гнездах сидели, только шеи из снега торчали... Плотность гнездования из-за пурги снизилась втрое. Песцу — раздолье. За десять дней он уничтожил все гусиные кладки! Ни одного птенца не вывелось в тот год!..

— Да, но ведь эти взаимоотношения — «гусь — песец» — были всегда... Складывались тысячелетиями! За это время могло установиться какое-то равновесие? — спросил я.

— Дело в том, что песцу, как ни парадоксально это звучит, начал помогать человек... Ведь гусь — не главный объект охоты песцов, — терпеливо принялся объяснять Сыроечковский. — Основная его пища — лемминг. А численность лемминга, как известно, непостоянна, из года в год колеблется. С нею обычно колебалось и количество песцов, живших на острове. Много лемминга — много песца. Мало лемминга — мало потомства у песца, и сам он с острова уходит. В эти годы размножается гусь... Примерно такая всегда была схе-

ма... Человек, поселившись на острове, начал охотиться на песца, но добывал незначительную его часть, зато большей части помогал кормиться в голодные, в «безлемминговые» годы. Охотники развозили по острову моржовые туши — привады, песец также кормился отбросами возле человеческого жилья, да и в тундре после забоя оленей оставались отходы... В итоге песец перестал уходить с острова, начал процветать, а гусю не стало передышки. И сам человек регулярно охотился на гуся и собирал гусиные яйца... Не говоря уж о варварах: в конце пятидесятих годов полевая партия геологов целиком истребила предпоследнюю гусиную колонию на реке Мамонтовой!..

— Вот сволочи! — горячо и прямо сказал вдруг молчавший до этого горняк.

— ...И олень любит гусиные яйца, — благодарно взглянув на горняка, продолжал Евгений. — В 70-м году за неделю олени уничтожили 8 тысяч гнезд!.. Кроме того, пробегаая по тундре, олени беспокоят гусей, гуси переходят с места на место, выводки при этом неизбежно растягиваются — тут опять они становятся добычей песцов... В общем, желая того, не желая, думая о том, не думая, а человек за пятьдесят лет своей хозяйственной деятельности заметно вмешался в островную экосистему... В шестидесятых годах на острове образовали государственный заказник, сбор яиц на гнездовьях был запрещен, охоту на гусей регламентировали, а вскоре запретили. Сейчас вообще — заповедник... Все это — большое дело!.. Но олени-то остались!..

— Уничтожить! — снова горячо воскликнул горняк, проникнувшийся, видимо, сочувствием к гусям.

— Может быть, всех не уничтожить? — предположил я, вполне понимая чувства горняка. — Может, сократить стадо до размеров, чтобы оно не вредило гусям?

— Это сейчас и обсуждают, об этом спор и идет. Но пока будут спорить... Мое мнение: или олень — или гусь, — сказал орнитолог. — Никто ведь точно не знает, сколько оленей на острове. Хозяйственники считают: тысяч шесть-семь... А мы сами видели тысячные стада оленей там, где об их существовании даже не подозревают! Врангелевский олень размножился чрезвычайно!.. Я думаю — их тысяч десять... И если, например, решат сокращать до тысячи от тех шести-семи, все равно за счет неуточненных их останется гораздо больше. Если поставить целью уничтожить всех, то и сохранится та самая оптимальная тысяча!.. Песцов тоже надо сократить, хотя бы в районе гнездовья. Ощутимого вреда всему поголовью песца это не причинит, а гусей спасет... Сама по себе гусиная колония не восстановится... Я не упомянул: их ведь еще убивают на перелетах и в местах зимовок. Сейчас мы метим своих, врангелевских гусей, чтобы с помощью американских зоологов точнее представить пути их перелета в районы зимовок. В Канаде своих белых гусей более миллиона, охота на них не запрещена, а нашего белого гуся от канадского, естественно, не отличить... Если мы будем знать, в каких местах зимуют именно наши гуси, то в рамках советско-американского сотрудничества по охране окружающей среды можно будет решить вопрос об ограничении там охоты... Ведь это так ясно, смотрите: если мы вмешались когда-то в островную экосистему и нарушили ее, то теперь мы и должны ей помочь, и прежде всего наиболее пострадавшему ее звену, в данном случае гусю! — обращаясь к нам, закончил Сыроечковский.

Что же тут можно было возразить?

— Н-да, — сказал горняк, — а я думал, что только наше, горняцкое дело — непростое... Вон у нас один,

ушел с шахты, работает в рыбнадзоре, я все ему говорил: «Сбежал на легкую должность!», а тоже, наверно, работа нервная...

— Ну а что все-таки с овцебыками?— наконец вспомнил я.

Овцебыков Евгению самому доводилось видеть: в позапрошлом году три пришли на гнездовье — два быка и самка. С месяц держались неподалеку. Невысокие, но когда бегут по тундре — топот, грохот, будто вездеход идет... С тех пор как в 75-м году их завезли на остров, в течение двух полевых сезонов сотрудники ИБПС за ними наблюдали: как пасутся, чем кормятся, как отдыхают, как складываются взаимоотношения в стаде... Весной 76-го года были обнаружены четыре трупа овцебыков. У одного была трещина в черепе, видимо, от столкновения с каким-то массивным предметом, другой погиб от неизвестных причин, и два, как установило вскрытие, — от пневмонии. Наверное, не перенесли суровой зимы. Такое при акклиматизации, в общем-то, неизбежно. Когда американцы завозили с Гренландии на Аляску, у них тоже гибли... Последний раз стадо овцебыков видели летом и осенью прошлого года; кто-то, говорят, даже усмотрел в бинокль двух новорожденных телят. В сентябре к поселку подходил одинокий бык... Ну а в этом году занимался ими практически один Вовченко Володя, а что он мог сделать один? Остров большой, пешком исходить его трудно, на вездеходе по тундре летом ездить нельзя, а с вертолета не очень-то разглядишь. Зашли в какой-нибудь распадок... там такие есть распадки... Врагов на острове у них, как и у оленей, нет, белому медведю овцебык не нужен, ему нерпа нужна... Уйти с острова они тоже не могли, это исключено, пролив широкий, дви-

гаются они очень медленно, корм нужен... Словом, неизвестно пока, искать надо...

За разговорами не заметили мы, что час уже очень поздний. Стали укладываться. В полусне мне представились олени, но не те кроткие, грациозные и пугливые животные, которых видел я раньше, а хищные, свирепые, с оскаленными мордами, с клыками вроде волчьих, и так же, как волки, неукротимо мчались они по тундре и уничтожали все живое...

Наутро на мысе Шмидта погода была отличная: солнышко, тепло, без ветерка, небо ясное, море гладкое. Я проводил Евгения на анадырский рейс. Мой Врангель был в тумане, я поехал в райком. Секретарь райкома Герман Васильевич, как я уже упоминал, тоже заговорил про оленей. «Конечно, нам бы они нужны. Семь тысяч — для района стадо немалое. Чтоб его сокращать, нужны убедительные научные обоснования... А может, не сокращать, а наладить окартауливание?! Разработать специальные олени маршруты? Организовать охрану гнездовья, когда там гуси?.. Ведь олень на острове — удивительный! Раза в полтора-два крупнее, чем на материке. До двухсот килограммов бывает. Другого такого оленя на всей Чукотке нет!..» Действительно, ситуация с оленями становилась интригующей: и одна сторона говорила убедительно, и другая рассуждала вроде бы здраво. К тому же с овцебыками — загадка... Мне оставалось только караулить вертолет на Врангеля...

5

«...А тут еще один товарищ на Врангель хочет. Тоже из Москвы, художник, — сказали мне в райкоме. — У него еще что-то такое с правой ногой...» Поэтому



когда я, вернувшись в аэропорт, увидел там человека с окладистой бородой, в маленьком хемингуэвском кепи с большим козырьком, в просторном брезентовом балахоне на меховой подстежке и со множеством удобных карманов, да еще прихрамывающего на правую ногу, то сразу понял, что это и есть тот самый художник.

На Севере, к тому же в дороге, церемония знакомства упрощается до предела.

— Вам на остров Врангеля надо? — почти утвердительно сказал я.

— Да! А что?! — моментально отозвался он, и в глазах его сверкнула надежда, словно я сейчас выну из кармана этот остров или, по крайней мере, за моими плечами нарисовался вертолетный винт.

По этому блеску глаз можно было определить, что он ждет — ну примерно неделю. Мы представились друг другу. Борис Никанорович Воронин действительно был художник из Москвы, много лет ездил по Северу, но, в основном, европейскому, а теперь решил посмотреть Чукотку. И точно — на Шмидте он уже неделю... Непосредственная его цель была — написать и представить что-нибудь к тематической выставке «Голубые дороги Родины». Но эти «голубые дороги» пока что чуть не угробили Бориса Никаноровича. Несколько дней назад, спускаясь по шторм-трапу с корабля на баржу — а была хорошая волна, — он не рассчитал и сыркнул так, что сел верхом на борт, проехавшись с размаху правой ногой по жесткому его краю. В воду ему свалиться не дали, но с тех пор Борис Никанорович хромотал. «Повезло! А мог и вообще очутиться между бортами!» — мужественно говорил он... Мы решили объединить наши усилия в достижении острова, точнее сказать — объединить наши надежды.

Авиапассажиры на Севере привыкли ко всяким неожиданностям и потому народ недоверчивый; одного заверения диспетчера, что Врангель закрыт, тут мало: а куда, в таком случае, готовится вертолет, почему собирается экипаж?.. Выяснилось, что вылетают с председателем райисполкома в поселок Биллингс, а оттуда в тундру, к оленеводам. «Возьмите хотя бы в тундру!» — попросили мы командира вертолета Эдуарда Ивановича Борташевича, лишь бы не томиться напрасно в аэропорту... Приехал председатель Шмидтовского райисполкома Виталий Васильевич Железняк, прихватили пассажиров до Биллингса, погрузили почту, металлические коробки с кинофильмами. Молодые муж с женой, летевшие из отпуска, засмеялись: «Вон наша посылка! Отправили себе еще с материка и вот догнали!»

Вертолет поднялся, и сразу стал виден поселок и стоящие против него в заливе корабли с генгрузом для района. Ледовая обстановка в этом году была тяжелой, навигация началась позже обычного, и корабли спешили разгрузиться, пока вновь не подойдут льды. Низко пролетели над выступившим далеко в море, плоским сверху мысом и пошли вдоль побережья на запад. Справа были воды Северного Ледовитого океана, слева многочисленные лагуны, прямо под нами узкая, идеально прямая и бесконечная коса — такие косы здесь могут тянуться на сотни километров. А летели мы, оказывается, в третью оленеводческую бригаду совхоза имени Ленина, которая в социалистическом соревновании заняла первое место в округе. Возглавлял ее опытный бригадир Тимофей Петрович Вуквукай-Ткэ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, участник ВДНХ, награжденный золотой медалью выставки. В прошлом году его бригада сохранила 98,8 процента взрослого поголовья оленей да получила еще приплод

по 930 телят на 1000 маток. Сам Тимофей Петрович сейчас приболел, в тундре его замещал старший пастух Николай Туресси. Обо всем этом рассказал мне председатель райисполкома Железняк, с которым мы в вертолете сидели рядом. Виталий Васильевич на Чукотке лет пятнадцать, работал в Анадыре, был в Певеке председателем горисполкома, с образованием нового района переехал на Шмидта... Железняк извлек из кармана маленькую красную коробочку и показал орден Трудовой Славы 3-й степени, который он сейчас летел вручать Николаю Туресси. «Труд у пастухов, конечно, и денный, и ночной, — добавил Виталий Васильевич. — В бригадах у нас обычно по шесть человек. По два пастуха сменяют друг друга... Это только здесь, на Чукотке, можно увидеть такое искусство: стадо в три-четыре тысячи голов, а удерживают и направляют всего два человека!.. Да-а, нелегко, нелегко мясо достается...»

Показалось впереди полукружье мыса Биллингса и маленький поселочек Биллингс, на самом берегу океана. Сразу же к вертолету, как водится, собралась толпа встречающих, сбежались лохматые чукотские собаки. Подкатил вездеход — забрать почту и прочий груз. Интересно, что бывшее здесь раньше чукотское стойбище называлось Валкаран, что в переводе означает «Жилище из челюстей кита». Сейчас это благоустроенный поселок, и о прежнем стойбище напоминает лишь сохранившееся название сельсовета — Валькарайский... Чувствовалось, что поселок находится далеко за Полярным кругом. Море, несмотря на середину июля, было забито льдом, и, как только на солнце набегала очередная туча, становилось по-настоящему холодно...

Пока нас кормили в небольшой и уютной поселковой столовой, собралась агиткультбригада — молодежь,

школьники — лететь с нами в тундру. Пришли также председатель сельсовета, заведующая библиотекой, фельдшер. Из магазина привезли к вертолету товары для оленеводов: продукты, предметы первой необходимости, нарядные цветастые камлейки для женщин... Теперь мы летели от побережья на юг, в глубь тундры, и пейзаж внизу стал иным: сопки, распадки, речки, зеленые и бурые склоны, серые каменные развалы, нарастающие снежинки... Сколько раз приходилось мне смотреть сверху на чукотскую тундру — однообразная, в общем-то, картина, но есть в этом однообразии что-то, от чего никак нельзя оторваться. Бесконечно можно лететь — и бесконечно смотреть!..

Примерно через час стали видны яранги — три светлых пятнышка посреди широкой долины. Рядом протекала река, сказали, что это верховья реки Паляваам. Мы сели поодаль. Люди тундры поначалу ведут себя более сдержанно, чем, скажем, на побережье, они не обступили мгновенно вертолет, и лишь когда мы вышли и двинулись к ярангам, они появились из яранг нам навстречу. Тут были старики, женщины и дети. Фельдшерца, летевшая с нами, небольшого росточка, живая, быстрая, увидев детей, вдруг побежала с раскрытыми руками, и они с криками: «Галина Павловна! Галина Павловна!» — бросились ей навстречу. «Ах вы, мои дорогие! Как вы тут? Не болеете?!» — обнимая их, приговаривала Галина Павловна... В толпе встречавших очень колоритна была одна старуха: в громоздком, мехом внутри, комбинезоне — керкере, с отороченными белым мехом рукавами-раструбами, в зимних оленьих торбах, с непокрытой, по-мужски коротко стриженной седой головой, с крупными бусами на шее, с морщинистым бесстрастным лицом. За нею неотступно ходили два щенка: черный и белый...

Мужчины, среди них и виновник торжества, находились при стаде, километрах в двадцати отсюда. «Во-он, в том кармане!» — показал пожилой чукча на отвешивающийся в конце долины распадок.

— Что ж? Надо лететь туда, — сказал Железник.

— Сюда, сюда привезите! — стали просить все.

— Колю привезите! Привезите Колю! — нетерпеливее и возбужденней всех повторяла молодая чукчанка, как выяснилось, жена Николая Туресси. — Сын его, Слава! — показывала она.

Другая чукотская бабушка держала на руках годовалого младенца, тоже в меховом комбинезончике с наглухо зашитыми концами штанин. Щеки Славы, темно-кирпичного цвета, распирала изнутри капюшон. На все происходящее он взирал сонно прищуренными глазами.

— Хорошо! Раз просите, привезем, — сразу согласился Виталий Васильевич.

Мы полетели за Колей. Сначала увидели палатку оленеводов и рядом с нею вездеход. Опустились, не прекращая кружения винтов, и, едва коснулись колесами земли, как из вертолета, подхватив связку каких-то железок, выскочила Галина Павловна. К ней от палатки кинулся мужчина. Это был муж Галины Павловны, вездеходчик; всю летовку, с весны до осени, он находился в тундре, с бригадой... Через минуту Галина Павловна с сумкой вяленой рыбы уже сидела в вертолете, а палатка и фигура человека рядом, уменьшаясь, относились назад и вбок. «Хорошо хоть запчасти не забыла передать, — смеясь и утирая глаза, сказала женщина. — Сейчас всех буду хариусом угощать...»

— Вот оно, мясо-то, как достается, — вновь назидательно повторил Виталий Васильевич...

...Мы снова только приспустились — потом я догадался, что это был знак пастуху, куда подходить, — и

пошли вокруг, держась краев распадка, чтобы не распугать стадо в разные стороны. И было хорошо видно, как спугнутые нами отдельные группы оленей устремляются к центру долины. Сверху это не производило впечатления бега, но, скорее, быстрого, отдельными извилистыми струйками, течения... Николай Туресси в условленном месте нас уже ждал. Вскоре мы опять сели возле яранг. Все собрались возле яранги Туресси...

Николай Михайлович был чукча лет тридцати, среднего роста, с крепкой, сухой и легкой, как обычно у оленеводов, фигурой, с застенчивым и добрым лицом. Пока председатель райисполкома рассказывал, что пишут в газетах, новости округа и района, Туресси сидел в привычной для отдыхающего пастуха позе — стоя на коленях и опустившись на пятки. Но когда речь зашла о нем и председатель обратился к нему с поздравлениями, он встал. Был он, как и привезли его от стада, в брезентовой зеленой камлейке, отороченной по вырезу красной ленточкой, в длинных болотных сапогах, в зимней шапке. На поясе висели нож и железная кружка для чая. К этой выгоревшей камлейке ему и прикрепили орден. Николай Михайлович шагнул вперед. Лицо его было серьезно. «Я, конечно, очень взволнован... — сказал он, смягчая, как все чукчи, твердые звуки, — и хочу дать обещание... Я уже дал, но теперь хочу еще... чтобы быть первыми в области...»

Потом, несмотря на то что тундровые комары совершенно игнорировали торжественность обстановки — и даже наоборот, вели себя просто как распоясавшиеся хулиганствующие элементы, — состоялся концерт. Девушки из приехавшего с нами ансамбля станцевали несколько национальных танцев. Я смотрел на благодарных зрителей — какие лица!.. В городской равнодушно текущей толпе не встретишь такие лица: удивление,

радость, грусть, восторг проступают на них сами собой, не чувствуется заведомой «тренированности» лиц, или... как это сказать... не чувствуется, что эти люди знают, что можно придать лицу специально то или иное выражение, попытаться скрыть или нарочно выказать какое-то чувство...

Нас позвали в ярангу пить чай, усадили на шкуры. Чайник свисал над маленьким костерчиком посреди яранги, в костерчик экономно подкладывались сухие веточки ивы. Множество заготовленных связок таких веточек было уложено вдоль стен яранги. В глубине ее раскрытыми, чтоб проветривались, стояли два меховых полога. Маленький Слава спал в люльке из шкур.

— Славой назвал, когда победили в соревновании. В честь... — признался Николай.

— Ну вот, теперь у тебя и сын — Слава, и орден — Славы, — заметил Виталий Васильевич. — Давай и дальше так действуй!

— А скажите, Николай Михайлович, когда труднее всего пасти оленей? — спросил Борис Никанорович.

Туресси задумался.

— Сейчас трудно. Лето, жарко, комары, овод мучают оленей... В августе трудно: много грибов, олени их любят, разбредаются, следить надо... Осенью дожди, туман — трудно... Зимой олень меньше двигается, часа чегыре может лежать, надо поднимать... Можно крикнуть, но часто не надо кричать — привыкнет... Зимой, если вдруг мокро, гололед — очень тяжело. Тундру ему не прокопытить в долине, значит, повыше надо, на сопки. Пурга идет — уводить вниз, спасать... Весной олень худой, много ест, мало лежит, опять ест. Бегать надо... Когда отел — очень трудно. Место для отела надо найти закрытое, тихое. Каждого теленка сберечь... Еще волки, росوماхи...

Все мы, в том числе и сам Николай Михайлович, засмеялись: выходило, что круглый год трудно.

— А то некоторые думают, чего там труд оленивода: знай бегай... А тут целая наука, искусство, ему с малых лет обучаться надо! Как игре на скрипке или... фигурному катанию! Не-ет, мясо, оно не просто достается, — снова заключил Железник.

— Мы хотели попросить... — обращаясь к председателю райисполкома, начал Туресси. Чувствовалось, что сейчас, с болезнью бригадира оставшись за главного, и вот с наградой, он полон ответственности. — Мы с Тимофеем Петровичем советовались... Нам бы еще полетовать здесь года три... Место, правда, узкое, но никогда не будет атк'аттыргын... копытки... И с водопоем хорошо... Еще маток оставить в стаде побольше. Сейчас тыща двести, мы хотим тыщу семьсот, чтоб увеличить приплод...

— Хорошо, Николай Михайлович, я поговорю с директором совхоза, — обещал Железник.

Сам Виталий Васильевич блаженствовал, сидя с повернутыми ногами на белой оленьей шкуре, с кружкой дымящегося черного чая в руках.

— Что до меня, то я в тундре отдыхаю, — сказал он. — Здесь телефона нет... и вообще — красота! А на праздник бы вам попасть!.. Вы небось теперь думаете: труд... трудно... А у них такие праздники есть! Праздник сбрасывания рогов, например... Это весной, после отела, в мае. Или праздник молодого оленя, в конце августа, когда оленей забивают на шкуры для одежды. Мяса наварят, гостей созовут... Костный мозг — это лакомство... Хорошо!

Пока мы чаевали и беседовали, фельдшер Галина Павловна успела осмотреть всех детей. Женщины накупили себе камлеек, примеряя их тут же, возле вертоле-

та. Девушки из агитбригады нарвали букеты цветов вперемежку с веточками ивы — ведь на мысе Биллингса лишь холодная, голая галька. Штурман Олег Шурдук насобирал большую сумку маленьких пузатых подберезовиков, каких я давно уже не встречал в наших подмосковных лесах. Пора было улетать. На прощанье я еще раз огляделся — кругом были только чистые, радостные цвета. Воды реки Паляваам были голубые, сопки — оранжевые и синие, тундра — зеленая, яранги — белые. И тишина... Словом, это было одно из тех мест, которые манят остаться навсегда и жить...

6

«Всякий ученый путешественник обязан умно и подробно отвечать на вопросы о той земле, которую он измерял растворением ног своих», — пишет Вельтман. Забегая вперед, скажу, что с островом Врангеля мне не очень повезло, в том смысле, что был я на нем недолго, не находил пешком, может быть, и пятидесяти километров, но предварительные сведения об острове, которые я должен сообщить, никаким измерением с помощью собственных ног все равно уже не добудешь, эти сведения принадлежат истории.

Некогда, всего лишь десять тысяч лет назад, остров еще был частью довольно обширной суши, соединявшей Азиатский материк с Америкой, Чукотку с Аляской, и называемой сейчас учеными Берингией. Затем земная кора опустилась, Берингия ушла под воду, образовался пролив между Азией и Америкой, далеко на севере остался остров... Некоторые ученые предсказывают, что примерно через двадцать тысяч лет произойдет обратный процесс: материки снова соединятся, Берингия поднимется из морской пучины. Ну а пока остров Вранге-

ля, столь долго остававшийся неизвестным человеку, являет нам черты ее древнего облика...

Что к северу от побережья Чукотки есть какая-то земля, человек подозревал давно. Особенно упорными эти слухи стали в XVIII веке. Так, на карте полярного бассейна, составленной М. В. Ломоносовым в 1763 году, очень близко к местоположению острова Врангеля, одним только краешком, условной линией берега помечен «остров Сомнительной». Примерно в это же время по распоряжению начальника над Охотским и Камчатским краем полковника Плениснера сержант геодезии Андреев и ученый чукча Николай Дауркин, каждый своим путем, искали эту землю. Сержант Андреев достиг Медвежьих островов, с которых «усмотрел в великой отдаленности полагаемый им величайший остров, куда и отправился льдом на собаках. Но, не доезжая того верст за двадцать, наехали на свежие следы превосходного числа на оленях в санях неизвестных народов и, будучи малолюдны, возвратились в Колыму». В донесении Дауркина также говорилось о «северной стороне», где живут «оленные люди, коих называют эти чукчи Храхой, и у тех людей копыя и ножи медные, а медь у них красная. Говорят по-чукотски. Есть же особая земля, на коей живут весь женский пол, а плод имеют от морской волны, и рождаются все девки». На карте, составленной Плениснером, в Северном море, отступя от чукотского побережья, изображена весьма прихотливая береговая линия и так и написано: «Живут олениные люди Храхой»... В наше время некоторые ученые-географы по разным веским причинам — например, что с Медвежьих островов из-за дальности расстояния никак нельзя разглядеть остров Врангеля, — считают сведения, добытые Андреевым и Дауркиным, «баснословными» и надолго сбившими с толку более поздних исследователей. Ко-

нечно, в этих донесениях, особенно Николая Дауркина, было немало фантастического, однако, когда поисками «земли Андреева» занялся в двадцатых годах прошлого века лейтенант русского флота Фердинанд Врангель, ему на мысе Шелагском чукчи также рассказывали предание, по которому онкилонский старшина Крехай, спасаясь от преследований чукчей, уплыл со своей родней через море на байдаре — в землю, ясно видимую с мыса Якан летом, в хорошую погоду. Люди Храхой — старшина Крехай... Несомненно, речь шла об острове, который искал Врангель... Интересно также, что существование земли на Севере «теоретически» предсказал капитан Гаврила Сарычев, участник экспедиции И. Биллингса в 1785—1792 годах. Его описание этой экспедиции «по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжении осьми лет» было издано в Санкт-Петербурге в 1802 году. Предположение капитана Сарычева было просто и остроумно. «Мнение о существовании матерой земли на Севере подтверждает бывший 22 июня юго-западный ветер, который дул с жестокостью двое суток. Силою его, конечно бы, должно унести лед далеко к северу, если б что тому не препятствовало; вместо того на другой день увидели мы все море, покрытое льдом», — писал он.

В течение 1821—1823 годов Врангель предпринимал один за другим несколько походов и вдоль побережья, и далеко от берега, в морской лед. Читая эти старинные отчеты, убеждаешься, что лучше всего предоставлять слово самому путешественнику. «Мрачные, черные утесы, веками нагроможденные, никогда не растаивающие ледяные горы, необозримое, вечным льдом скованное море, все освещенное слабыми скользящими лучами едва поднимавшегося над горизонтом полярного солнца, совершенное отсутствие всего живущего и ничем

не прерываемая могильная тишина представляли нам картину как будто мертвой природы, которой описать невозможно. Казалось, мы достигли пределов живого творения», — записал в своем дневнике Врангель. Однако это была не та земля, которую искали, — таким предстал перед Врангелем и его спутниками всего лишь мыс Шелагский в марте 1821 года. Пройдя еще километров пятьдесят вдоль берега к востоку, отряд вынужден был вернуться в Нижнеколымск. В этом же году Врангель безуспешно искал землю к северу от Медвежьих островов...

Во время следующей попытки, предпринятой от мыса Большой Баранов Камень, путешественники наблюдали картину, из которой следует, что если даже «величайший остров», увиденный сержантом Андреевым, не существовал на самом деле, то Андреева тем не менее нельзя заподозрить в предумышленном обмане. «Чем далее ехали мы, — сообщает Врангель, — тем явственнее становились замеченные нами возвышения, и скоро приняли они вид недалекой гористой земли. Холмы резко окраились, мы могли различать долины и даже отдельные утесы. Все уверяло нас, что после долгих трудов и препятствий открыли мы искомую землю. Поздравляя друг друга с счастливым достижением цели, мы спешили далее, надеясь еще до наступления вечера вступить на желанный берег. Но наша радость была непродолжительна, и все прекрасные надежды наши исчезли. К вечеру, с переменою освещения, наша *новооткрытая земля* подвинулась по направлению ветра на 40°, а через несколько времени еще обхватила она весь горизонт так, что мы, казалось, находились среди огромного озера, обставленного горами и скалами...» На этот раз экспедиция перешла 72-ю параллель, углубившись во льды на 262 версты. То есть если бы Врангель вы-

шел в море с мыса Якан или даже с мыса Рыркайпий, он бы, при благоприятствующей ледовой обстановке, попал на остров...

В последний раз Врангель и его спутники, среди которых был лицейский товарищ Пушкина мичман Ф. Матюшкин, попытались счастья в марте 1823 года с мыса Шелагский. Торосы приходилось пробивать пешнями. Однажды ночью сильный шторм разбил лед, и путешественники очутились на льдине. Всю ночь их носило по волнам — «в темноте и ежеминутном ожидании смерти», — пока утром льдину не прибило к сплошному льду... Наконец, почти у 71-й параллели пути им преградила огромная, в несколько сот метров шириною, полынья. «Мы влезли, — пишет Врангель, — на самый высокий из окрестных торосов в надежде найти средство проникнуть далее, но, достигнув вершины его, увидели только необозримое открытое море. Величественно-ужасный и грустный для нас вид! На пенящихся волнах моря носились огромные льдины и, несомы ветром, набегали на рыхлую ледяную поверхность, по ту сторону канала лежавшую. С горестным удостоверением в невозможности преодолеть поставленные природой препятствия исчезла и последняя надежда открыть предполагаемую нами землю, в существовании которой мы уже не могли сомневаться. Должно было отказаться от цели, достигнуть которой постоянно стремились мы в течение трех лет, презирая все лишения, трудности и опасности. Борьба с силою стихий и явной невозможностью было безрассудно и еще более — бесполезно. Я решился возвратиться».

Обращая внимание читателя на то, в каком порядке выставляет Врангель причины возврата экспедиции. Безрассудно, то есть с риском для жизни, — да, но не это главная причина отказа от борьбы, главная — беспо-

лезно... Однако Врангель не совсем еще отказался от надежды хотя бы издали увидеть свою землю. В апреле того же года, продолжая идти на восток вдоль побережья, он вышел на выступающий далеко в море мыс и отсюда долго наблюдал горизонт, где, по рассказам чукчей, можно было разглядеть иногда горы. Но не увидел... Потом прошел еще до Колючинской губы... Новой земли он так и не открыл. Однако описал и картировал участок побережья огромнейшей протяженности от Индигирки до Колючинской губы. Уточнил описание Медвежьих островов, составленное сержантом Андреевым. Доказал, что в указанном Андреевым направлении земли нет, — что тоже открытие... И между тем с каждой новой попыткой он приближался, с запада на восток, к «искомой земле». На карте, составленной по материалам экспедиции Ф. Врангеля и приложенной к его сочинению «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820—1824 гг.», положение острова обозначено уже довольно точно, под 71-й параллелью, с надписью рядом: «Горы видятся с мыса Якона в летнее время»... Вернувшись из экспедиции, Врангель возбудил ходатайство перед Морским министерством о выделении средств на открытие и исследование земли на Севере, но ему было отказано...

Капитан Келлет и его спутники на английском корабле «Геральд», занятые поисками пропавшей экспедиции Джона Франклина, были первыми европейскими мореплавателями, которые в 1849 году увидели остров. Вернее, им показалось, что они видят цепь островов. Ближайший, на котором они высадились, действительно оказался маленьким островком и был назван в честь корабля — Геральд. Остальные виднелись милях в шестидесяти к западу. К ним англичане не подходили, иначе они убедились бы, что эти острова — всего лишь от-

дельные горные вершины одного большого острова...

В это время, то есть в середине прошлого века, в Чукотском море стало промыслять много американских китобоев, и в поисках добычи они, случалось, заходили далеко на север. Следующим после Келлета, кто воочию убедился в существовании ранее неизвестной земли, был капитан американского китобойного судна «Найл» Т. Лонг. Это было в 1867 году, 14 августа. Выйдя к западной оконечности земли, Лонг поплыл вдоль нее на восток, держась на расстоянии примерно в пятнадцать миль. Он хорошо рассмотрел низкие зеленые берега, горные кряжи в глубине острова, дал название юго-восточному мысу — Гавай, так как судно его базировалось на Гавайских островах. Подходить к острову Т. Лонг не стал. Вот как он сам пишет об этом: «Между берегом и шхуной плавал разбитый лед. Я мог бы без большого риска для корабля достигнуть берега, но так как в этом месте не было никакой надежды встретить китов, то я не счел себя вправе терять время для подхода к берегу...» Вот так! Один тратит годы, чтобы пешком пробиться через лед к предполагаемой земле, другой видит ее невооруженным глазом, но не хочет «терять время»... Впрочем, у капитана Лонга могли быть на это свои основания. Промысляя в северных морях, китобойи часто не успевали за короткую навигацию взять на борт полный груз, задерживались до глубокой осени, затирались льдами и гибли. Была уже середина августа, обстановка могла измениться в любую минуту... Справедливости ради следует отметить, что Лонг, которому, видно, было известно о героических походах Врангеля, назвал остров в его честь...

Затем, уже с северной стороны, видел этот остров в 1879 году Де Лонг, капитан «Жаннетты», медленно дрейфовавшей во льдах к месту своей гибели у 77-й па-

раллели... Два года спустя два американских судна «Томас Корвин» и «Роджерс» отправились искать экспедицию Де Лонга. В конце июля 1881 года «Томас Корвин» под командованием капитана Хупера подошел к острову Геральда. Обследовав Геральда и не найдя следов экспедиции, Хупер решил пробиться к острову Врангеля, логически рассуждая, что в случае аварии моряки с «Жаннетты» могли найти приют там. 12 августа шлюпка с «Томаса Корвина» пристала к восточному берегу острова, возле устья реки, названной высадившимися Кларк. В этот же день корабль отошел от острова... Через тринадцать дней, 25 августа в удобную бухту на южном берегу острова вошло второе судно — «Роджерс», под командованием капитана Берри. В этой бухте, так и названной — Роджерс, корабль простоял почти до середины сентября. За это время, параллельно с поисками пропавшей экспедиции, было произведено более или менее детальное исследование острова. Две шлюпки под командованием мичмана Хента и лейтенанта Уэринга отправились вокруг острова в западном и восточном направлении и немного не сомкнули свои маршруты на северной его стороне. Сам капитан двинулся в глубь неизведанной земли и поднялся на одну из самых высоких вершин острова, названную впоследствии в его честь — пиком Берри... Все три партии делали топографическую съемку, астрономические и геомагнитные наблюдения, была собрана коллекция, дающая представление о природе острова, и составлена первая, сравнительно достоверная его карта...

Далее в истории исследования острова мы видим тридцатилетний перерыв. «Покров таинственности сброшен с него, — пишет русский ученый-мореход Е. Шведе, — определен его характер, и им перестают интересоваться. Никому не нужны голые, холодные скалы, и все дер-



жавы молча признают его принадлежность к России. На всех географических картах, во всех иностранных руководствах, энциклопедиях и справочниках он значится как русский остров, вошедший в состав Сибири...» И когда два ледокольных транспорта «Таймыр» и «Вайгач» были посланы в гидрографическую экспедицию для новой описи северных берегов Азиатской России, остров Врангеля также вошел в программу исследований. В сентябре 1911 года «Вайгач» подошел к юго-западной оконечности острова. Здесь был поднят русский трехцветный флаг. Затем «Вайгач» обошел остров с севера, что не удавалось сделать ни одному судну...

В 1924 году Советское правительство отправляет из Владивостока канонерскую лодку «Красный Октябрь» под командованием Б. В. Давыдова, чтобы водрузить на острове Государственный флаг СССР. Интересно вспомнить, что Борис Владимирович Давыдов, русский ученый и моряк, командовал «Таймыром» во время упоминавшейся гидрографической экспедиции «Таймыра» и «Вайгача»... Поход на «Красном Октябре» впоследствии был описан Б. В. Давыдовым в очерке «В тисках льда». «Оглядываясь назад на проведенную по снаряжению экспедиции работу,— писал он,— невольно приходишь к мысли, что это был, вероятно, один из очень немногих, а может быть, и единственный в истории полярных экспедиций случай, когда вся подготовительная перед плаванием работа была проведена в один месяц». 20 июля 1924 года «Красный Октябрь» вышел в море, 10 августа прошел Берингов пролив и уже 19 августа входил в бухту Роджерса. Здесь, на мысе, названном Пролетарским, на следующий день был поднят советский флаг...

Даже из краткого и сдержанного повествования

Б. В. Давыдова видно, что поход «Красного Октября» и особенно возвращение его было невероятно сложным и мужество экипажа — беспримерным. Несколько раз судно попадало в штормы и в тяжелые льды, ему грозила опасность зимовки, и последний раз льды поджидали корабль у Берингова пролива. Кроме того, на исходе было топливо, приходилось рубить и жечь все дерево, имевшееся на судне. «Никогда, кажется, не забыть этого рискованного перехода,— вспоминает Давыдов,— только усыпанное звездами небо несколько умеряло глубокий мрак ночи, позволяя еле-еле разбирать контуры громадных, крутых скалистых обрывов Дежневского выступа. Тяжело движется корабль, прокладывая себе путь среди льда, отвоевывая с каждым шагом свою свободу. Целые снопы искр вылетают из трубы, кружась в воздухе. Береговые обрывы, порою, так близки к кораблю, что, кажется, еще немного и мы заденем за них бортом...» Когда, наконец, 6 октября «Красный Октябрь» вошел в бухту Провидения, на нем совершенно не было пресной воды, а запасов топлива едва хватило бы на 25 минут хода...

С этого времени начинается новая история острова — история его заселения, планомерного хозяйственного освоения и научного исследования. Нет нужды пересказывать мне здесь трудности первых зимовок, об этом оставлено немало воспоминаний самих участников — первого начальника острова, знаменитого исследователя Арктики Г. Ушакова, затем сменившего его на пять долгих полярных ночей А. Минеева, дважды зимовавшего на острове геолога Л. Громова... Обстоятельная книга А. Минеева «Остров Врангеля» — это энциклопедия жизни советских людей на острове с 1926 по 1945 годы, а его непосредственные наблюдения за природными условиями и животным миром острова до

сих пор не потеряли ценности для исследователей... Я же в своем коротком очерке старался дать читателю общее представление об истории острова Врангеля и в то же время не лишать его удовольствия самому познаться с подробностями.

7

...Какой путешественник без путевого журнала?! И я, разумеется, вел его — в «полевом дневнике», небольшой книжечке в твердом переплете, подаренной мне в дорогу знакомым магаданским геологом, с грифом «Академия наук СССР», с указанием на титульном листе фамилии, имени и отчества исследователя, с названием экспедиции и обозначением района работ, а также с просьбой «в случае нахождения утерянного дневника вернуть его по адресу...». Очень люблю я эти книжки — в них так удобно записывать, без всякого стола, примостившись где угодно: на гостиничной койке, на сиденье вертолета, на камне в тундре... От записей в тундре у меня меж листочками остались засохшие комары, не успевшие улететь, когда я закрывал дневник...

Цитировать свои записи, в общем-то, странно, потому что от них со временем отделяешься, отчуждаешься, и создается впечатление, будто воспроизводишь свой голос, записанный когда-то на пленку, но не узнаешь его: и голос вроде непохож, и слова не твои... Однако я попробую, опуская по возможности то, что не относится ни к острову, ни вообще к путешествию, и то, что сейчас, то есть дома, за рабочим столом, мне самому непонятно. Ведь я давно уже заметил, что в дальней дороге выходишь из обычного, будничного состояния и, проезжая беспрестанно с места на место, общаясь все с новыми и новыми людьми, постепенно возбуж-

даешься, впадаешь, я бы сказал, в тихую эйфорию и вот начинаешь делать записи, которые в тот момент кажутся открытиями, исполненными для тебя глубокого и важного значения, а по прошествии времени оборачиваются совершенным вздором... Как — не помню, в чьем-то психологическом исследовании, кажется, начала нашего века, — рассказывалось о человеке, которому в состоянии кислородного опьянения померещилось, будто его озарила последняя и окончательная истина о жизни, и, сделав трезвое усилие, он схватил карандаш и записал ее... Когда же, придя в себя, этот человек кинулся к своей истине, то увидел, что в ней всего-навсего содержалось: «Повсюду пахнет керосином!» Впрочем, теперь, с нашими нынешними тревогами по поводу загрязнения окружающей среды, и эта запись может показаться не лишенной пророческого смысла...

8

20 июля 78 года. Наконец-то летим через пролив Лонга. Интересно: когда летишь над тундрой или даже над горами, совсем не думаешь о возможной катастрофе, а над чистой водой нет-нет, да и вспомнишь. Хотя, казалось бы, какая в конечном итоге разница — расширяться о земную твердь или ввергнуться в морскую пучину?.. И еще: когда мысль о неизбежной смерти посещает вас дома, например, ввечеру, в вашем кабинете, за чтением, вы принимаете ее с философским спокойствием, как нечто абстрактное, но когда предстает она в таком зримом, реальном и возможном близком варианте... нет, думаете вы, лучше пока не надо... Летчики, как я заметил, тоже не свободны от этого неприятного ощущения: перед вылетом нам было сделано предупреждение — в случае потери высоты срочно и безжало-

стно выкидывать вещи. У нас с Никаноровичем их практически нет, но с нами летит экспедиция из МГУ — у них груза достаточно. Эти ребята — радиобиологи... Каких только специальностей теперь нет!..

Примерно на середине пролива начался битый лед, сверху похожий на пчелиные соты, только неправильной формы. Почему-то он коричневатого оттенка. В Уэлене зимой, если смотреть с сопки, лед напротив поселка тоже выглядел буроватым — от угольной копоти из множества труб. Может, этот лед отнесен от уэленского берега?.. И проступили впереди залитые солнцем горы...

Где я? В какой стороне? И какой здесь народ обитает?

Остров ли это гористый, иль в море входящий, высокий

Берег земли матерой, покровенной крутыми горами? —

могу вспомнить я строки из «Одиссеи». Но с высоты хорошо видно, что это — остров... Может быть, от чтения приключенческих романов, но остров всегда производит более таинственное и романтическое впечатление, нежели «берег земли матерой», тем более — такой остров!..

Но вот и единственный его поселочек — Ушаковский. Назван в честь первого начальника острова Г. А. Ушакова. По выходе из вертолета бросается в глаза столб из двух поставленных друг на друга железных бочек. На верхней бочке надпись: «Государственный заповедник «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ». Охота, нахождение с оружием и собаками, движение вне дорог общего пользования — ЗАПРЕЩАЕТСЯ». Поселок аккуратный, чистый — белые домики в несколько рядов. По одну сторону — бухта Роджерса, свободная ото льда, только посередини

не торчит стамуха. За дальней косой, отделяющей бухту от моря, сплошные льды. По другую сторону, в отдалении — невысокие сопки... Встречает «мэр» — Петр Александрович Акуленков. Он здесь лет семнадцать. По дороге к гостинице сообщает, что в поселке около ста пятидесяти жителей. В единственном экземпляре имеется все, что положено поселку: сельсовет, школа, больница, клуб, почта, детский сад, магазин... Милиции нет... Домик, в котором нас с художником поселяют, весьма уютен: на полу дорожки, на стенах коврики, на окнах занавесочки, цветы. Есть даже электросамовар. Наружная дверь — ярко-оранжевая, заметна издалека... Борис Никанорович, несмотря на свою большую ногу, тотчас отправляется на ближайшую сопку — обозревать окрестности. Я, памятуя магаданские наставления, иду на полярку давать РД в бухту Сомнительную, где обособились леммингологи, чтобы прислали вездеход.

Домики полярной станции стоят отдельно от поселка, под обрывом, на внутренней косе. Туда ведет крутая деревянная лестница с перилами. На обрыве, прямо из голой земли, вырастает множество пронзительно желтых полярных маков, и... бабочки летают — мать честная!..

Отыскав радиорубку, едва захожу и начинаю обычное: «Здравствуйте, извините, мне бы...» — как узнаю в радистке Васильевну, то есть Валерию Васильевну Клейменову, знакомую мне еще по Уэлену! Они с Петром Яковлевичем, оказывается, теперь здесь. А в Уэлене у меня их дети, Вера и Витя, учились... Сразу иной видится жизнь, когда в незнакомом месте встречаешь старых друзей!.. Вечером, как водится, посидели, повспоминали...

Клейменовы — полярники настоящие, убежденные. Петр Яковлевич мой земляк, москвич с Таганки. Девят-

надцати лет ушел на фронт, был радистом, дошел до Праги. После войны сделался полярником, поехал на Новую Землю. «Помню,— говорит,— все настоящего ветра ждали. Слышали ведь, что до 50—60 метров в секунду бывает. Когда начался, повыскакивали все на улицу, нас швыряло, падали, хохотали. Молодые были...» А Валерия Васильевна из Северо-Двинска, на Новую Землю попала после Архангельского медучилища. Там они познакомились, поженились, там и Вера родилась. Васильевна к больным ездила на собаках... После Новой Земли зимовали на острове Врангеля, Клейменовой и здесь пришлось обязанности врача исполнять, местные до сих пор помнят, зовут — доктор... Потом — Певек, потом опять Врангель. Отсюда в Уэлен — это когда и я там работал. И опять: Певек, Амбарчик, Певек, а с 75-го снова на остров, уже в третий раз. Здесь серебряную свадьбу справили...

«Мне на днях 55 стукнуло,— говорит Яковлевич.— В будущем году — 30 лет как в Арктике. Почетный полярник. Могу хоть сейчас на пенсию, да Васильевну подожду, ей через два года... Да и то боюсь: уедешь, а потом опять согласишься! Со сколькими так было... — Потом:— А я, что всю жизнь на Севере прожил, ничуть не жалею. Вот 55 лет, а веришь ли, бегать хочется! Север, что ли, так влияет?..»

Я смотрю на Клейменовых — четырнадцать лет прошло, как не виделись, а ничуть они, кажется, не изменились. И Яковлевич все такой же: полный, улыбающийся, добродушный... Интересно, что в Уэлене он всем нам, молодежи, казался старым, звали его — отец. А было ему, оказывается, едва за сорок... Ну а сейчас он, значит, «дед», у Витьки, который у меня в пятом классе был, уже сын родился. Витька — авиамеханик, в Ярославле работает... «Что ж ты Витьку-то полярником не

сделал?» — «А я сделаю, подожди! Он будет полярником! Я его обязательно сюда перетащу!»

Петр Яковлевич зовет прийти завтра, посмотреть полярку. Начальник в отпуске — «Да ты его помнишь по Уэлену: Тимофеев!..» — Клейменов сейчас за начальника. Полярка замечательная, одна из старейших в Союзе, в позапрошлом году пятидесятилетие отметили. Считается с 26-го года, с начала зимовки Ушакова. «Ну условия, конечно, не сравнить! Еще когда мы с Васильевой в первый раз зимовали, электричества не было, керосин жгли. А сейчас дизельная какая!.. Есть мысль бассейн построить своими силами, с морской водой, море-то под боком... Любительскую радиостанцию имеем, Кренкель нам идею подал. «А почему бы,— говорит,— не сделать вам любительскую?» Радист Витя Кошелев уже больше чем с 200 странами сработал... С атомоходом «Сибирь» связывались этим летом, когда узнали, что он идет. «К нам,— запрашиваем,— думаете?» — «Нет,— отвечают,— мимо...»

Я смотрю на часы: «Яковлевич, какое «завтра»? Уже четыре утра!» Он меня провожает. Из-за сопки яркое солнце. По-ночному безлюдно. Доходим до деревянной лестницы на обрыве. «Сейчас покажу, где стоял домик Ушакова...» Поднимаемся наверх, здесь, влево по откосу, в ложбинке еще сохранились три кирпичных столба от фундамента. «Вот тут он и был! Вот тут! И точнее тебе никто не скажет!..» Дальше иду один, усиленно ориентируясь на экзотически оранжевую дверь. Борис Никанорыч, конечно, спит, рядом на тумбочке карандашный набросок: вид с сопки на поселок и бухту Роджерса... Я еще нахожу в себе силы записать впечатления первого дня на острове и — спать!..

21 июля. С утра нам объявляют, что нас хочет видеть начальство заповедника. Контора рядом, в маленьком домике. У крыльца — опять бочка со знакомым предупреждением насчет охоты. Директор заповедника все еще в Магадане, ведет битву против оленей — нас принимает его зам по науке Сазонов Александр Александрович. Встречает он нас с настороженностью и, я бы сказал, не очень любезно — вопросом, кто нас сюда, то есть на остров, собственно, пустил? Объясняем, что все законно, имеем командировочные удостоверения. Тогда — с какой целью? Заверяем, что ни оружия, ни собак с собой не привезли и цели у нас исключительно, так сказать, эстетические. Борис Никанорович вот художник, я — писатель, но — тут же прибавляю я, зная по опыту, как это иногда важно, — фельетонов не пишу... После этого товарищ Сазонов несколько смягчается, начинает с нами по-человечески разговаривать и, как это обычно и бывает, постепенно увлекаясь, посвящает нас в проблемы...

Сам он, оказывается, в заповеднике и на острове с конца апреля — значит, всего-то два с половиной месяца. По образованию медик, вирусолог, кандидат наук. До этого работал в Москве, в институте вирусологии, ездил на Дальний Восток, в основном на Курилы и Камчатку, выявлял у морских животных и птиц вирусы гриппа. «Грипп после сердечно-сосудистых заболеваний — проблема № 2!» Выявил таковой даже у кита, что в науке, по его словам, произошло впервые. «И вот, произведя напоследок такой небольшой бум, уехал сюда», — с улыбочкой смущения признался Александр Александрович.

Мне это все интересно. Мне интересны люди, которые вот так, резко умеют переломить свою жизнь, оторваться от привычного, сложившегося ее образа. А при-

чины тут могут быть совершенно разные... Я присматриваюсь к нашему собеседнику. Сколько ему лет, точно не скажешь, — где-то между тридцатью и сорока. Но вид у него или болезненный, или очень утомленный, глаза покрасневшие, он то и дело проводит по ним рукой — такое, например, впечатление, что этот человек которую ночь подряд не спит...

Теперь, в заповеднике, лично он хочет заняться изучением экологии всех островных видов животных, определить их взаимоотношения — «но без оленя, — со значением подчеркивает Сазонов, — ибо олень чужероден!». Но пока что ни о каких исследованиях думать не приходится. Научных работников в заповеднике, кроме него и его жены, старшего научного сотрудника, до сих пор нет. Условий для научной работы тоже нет. Заповедник существует 2,5 года чисто номинально! Техника практически отсутствует. Совхоз передал три вездехода, все сломаны. Один трактор. Еще автомашина, и та еле ходит. «Верите ли, — восклицает Сазонов, — за все время, что я здесь, ни разу не удалось выбраться из поселка, посмотреть остров! Приходится заниматься исключительно хозяйственными делами: ликвидировать в поселке помойки, снабжать его электроэнергией, водой — все это теперь на заповеднике... И рабочих комплект: вот поставить восемь столбов для электролинии — проблема!.. Столовую собираемся открыть — некому сложить печку! Я сам взялся изучать печное дело, сложил... Нам запланированы вездеходы, мотонарты типа «Буран», рации — тоже пока не завезли. Вот, может, в эту навигацию отгрузят... У полярников хорошая материальная база, они могли бы помочь, но они на нас в обиде, потому что мы запретили им охотиться, добывать песка... А здесь, по идее, никакой полярки теперь быть не должно. Необходимо стерилизовать остров!

У полярников ощущение временности жизни на Севере! Мы ходатайствуем в Москве...»

Тут я, вспомнив своих друзей Клейменовых да и других известных мне полярников, собираюсь возразить Александру Александровичу по поводу их «временности», но в этот момент приходят радиобиологи из МГУ. Пока они посвящают зама по науке в план своей работы в заповеднике, мы с Борисом Никаноровичем разглядываем висящую на стене карту острова. Какие названия! Бухта Сомнительная, река Хищников, лагуна Предательская, мыс Блоссом, тундра Академии, горы Осьминог, Гробница, Кит, мыс Уэринг, лагуна Нанауна, названная в честь эскимоса, одного из первых поселенцев острова... История одних названий острова Врангеля, если ее написать, могла бы составить целую романтическую книгу... Еще на стене развешаны фотографии животных, населяющих остров. Вот и таинственный овцебык: стоит один, неподвижно, в тумане, на вершине какой-то сопки. Подпись: «Одиночество»...

Ребята из МГУ, между прочим, сообщают, что договорились с начальником местной товарно-заготовительной базы, он дает машину, которая сегодня же, после обеда, отвезет всех нас на Сомнительную. Мы уже знаем, что вездеход у магаданцев сломался, прийти за нами не может.

— Интересно, — настаивается Сазонов. — А что вы ему за это обещали?

— Ничего, — недоуменно отвечают радиобиологи.

Они уходят собираться, а зам по науке, вдруг вспомнив, что Борис Никанорович художник, зовет нас к себе домой, посмотреть его этюды, потому что он «в некотором роде тоже...». По дороге показывает нам место, где по проекту будут построены для заповедника три двухэтажных дома: два жилых и один — производствен-

но-лабораторный корпус. Здесь, вернувшись к своей прерванной мысли, Александр Александрович высказывает соображение, что не только полярку, но вообще-то и весь поселок хорошо бы убрать с острова — пусть останутся одни работники заповедника. «Остров надо стерилизовать!» — убежденно повторяет он. Сказывается, наверное, профессия вирусолога... Я не согласен с Сазоновым — хотя бы по той причине, что люди здесь родились, что это дети и внуки тех, кто в двадцатых годах вместе с Ушаковым с таким трудом обжидали остров, и остров — их родина, но я пока молчу, мне хочется получше понять этого человека.

Домик его стоит хорошо, вверху, на самом краю поселка. Окна выходят в сторону сопки, и, глядя на этот пустынный пейзаж, можно вообразить, что живешь где-нибудь в уединенном, необитаемом месте. Я тоже когда-то так жил... Раньше в домике была какая-то служба полярной станции, и Сазонов с увлечением рассказывает, сколько пришлось потрудиться ему, чтобы оборудовать дом под жилье. Стены в комнатах обтянуты ситцем, печка аккуратно раскрашена под кирпич, на полу,azole самодельного журнального столика, большая, хорошо выделанная шкура нерпы с темно-серебристой спиной. Часть этюдов уже развешана, часть еще не нашла себе места. Я не смыслю в живописи, я могу лишь с уверенностью объявить, что «Рембрандт — велик!» — если мне, конечно, скажут сначала, что это Рембрандт, — и поэтому, пока Борис Никанорович оценивает, рассматриваю книги. Здесь специальные научные труды, много популярных книг о животных и птицах. А вот, рядом со знакомой мне книгой Ричарда Перри «Мир белого медведя», та самая — «Печные работы»... «Вот это хорошо бы убрать вообще, — слышу я вдумчивый голос Никаноровича. — А здесь, мне кажется, следо-

вало бы немного высветлить, чтобы было впечатление солнечных лучей, падающих вот отсюда...» — «Все это — старые, камчатские впечатления... Врангелевские у меня еще не сложились», — поясняет Александр Александрович...

«Ну и как живопись?» — спрашиваю я художника, когда мы выходим. «А-а, — махнув рукой, только и говорит Никанорович. Потом, помолчав, добавляет: — Каждый должен заниматься своим делом».

Мы заходим в магазин, покупаем с собой на Сомнительную продуктов — банки с тушенкой, с печеночным паштетом, зеленым горошком, охотничьим салатом, чай в большом количестве, сахар, масло, крупу, галеты, несколько буханок хлеба — и тоже идем укладываться.

22 июля. Вчера после обеда выехали из Ушаковского и за два с половиной часа, из которых полчаса чинились посреди дороги, домчались до Сомнительной. Здесь пятьдесят километров... Ездил по летней тундре на вездеходе, на тракторе, но в первый раз — на грузовике. Дорога твердая, укатанная, то и дело пересекается ручьями. Сопки справа от нас, море слева, между ними однообразная, чуть пологая к морю, равнина тундры. Из живности за всю дорогу — кулички да стайка гаг, пролетевшая в отдалении. Зато раскидано множество бочек... Не знаю, как мои спутники, а я очень надеялся, что мне повезет и я сразу увижу овцебыка, поэтому сначала усердно вглядывался в каждое темное пятно, которое при ближайшем рассмотрении всякий раз оказывалось бочкой. Наконец, устав от этого занятия, я констатировал с грустью, что теперь, если настоящий овцебык все-таки покажется, на него можно спокойно не обратить внимания — принять за очередную бочку...

В бухте Сомнительной раньше был небольшой поселок — Звездный. От него, по обеим сторонам речки Сомнительной, осталось десятка два заброшенных домиков. В одном из них, вот уж который год, с мая и примерно по сентябрь, живут эндокринологи из ИБПС. Дом стоит несколько обособленно, это здание бывшего аэропорта с характерной будочкой наверху. Штукатурка снаружи потемнела от непогоды, потрескалась, местами обвалилась, обнаружив дранку. Фасад украшают огромные, мощные рога врангелевского оленя. У крыльца, в куче плавника, заготовленного на дрова, валяется обломок бивня мамонта — тоже посеревший, растрескавшийся и похожий на обыкновенное кривое полено. Внутри дома поддерживается порядок, сносный в условиях «поля», и даже уют. На стене висит стенгазета с комическими фотографиями и текстом, юмор которых, как это обычно бывает, полностью понятен только обитателям этого дома. Изображение «последнего лемминга острова Врангеля» — забинтованного, на костылях... Объявление, что за первого пойманного в сезоне лемминга назначается вознаграждение — банка конфитюра... Перечень обязанностей дежурных — «кухонного мужика» и «кухонной дамы»... На печке с шелушащейся побелкой кто-то по-пещерному грубыми и точными штрихами нарисовал углем целое лежбище моржей — явно не без знакомства с оригиналом... На маленьком столике у окна — микроскопы, весы, штативы с пробирками, журналы для наблюдений. В углу — библиотечка, транзистор... Я люблю подмечать подобные мелочи, они о многом говорят. Так, если бы я попал в этот дом в отсутствие его хозяев, я бы уже заранее был к ним расположен... И еще, вроде примечания на полях: можно, конечно, сколько угодно умиляться живописностью и оригинальностью вот таких временных пристанищ, во множестве

разбросанных по Северу, — что я и делаю, — но!.. Ведь то и дело встречаешь в прессе извещения о том, что наконец-то сконструированы какие-то необыкновенные, легкие, теплые, прочные, сборные и разборные, со всеми удобствами вплоть до душевой, домики для геологов, приисковиков, первостроителей и прочих «полевиков» — помещаются даже фотографии этих домиков, — а оказываешься очередной раз в «поле» и видишь, что каждый до сих пор устраивается, как может!..

...Вчера леммингологи в первые минуты выглядели явно растерянными, когда мы один за другим начали прыгать с грузовика, как какой-то десант, и эмгзюшники принялись метать на землю свой скарб: рюкзаки, баулы, спальные мешки, вьючные ящики и т. д. Такого нашествия здесь еще не бывало. Сразу встала проблема, где нас поселить. Но постепенно распределились. Радиобиологи ушли за речку, в балок, принадлежащий Провиденской гидробазе. Мы с Никаноровичем облюбовали домик по соседству с магаданцами. Печь в нем, как в простоте говорится, «не фурьчит», напрочь завален дымоход, но есть койки, и для нас нашлись спальные мешки. А что еще надо? Кроме того, магаданцы любезно пригласили нас делить с ними трапезу, и мы с чувством облегчения сдали им наши припасы... Да, еще в Магадане Ткачев попросил меня передать на Сомнительную объемистый короб с пробирками, что я тут же, по приезде, и сделал и был очень рад, что ничего не разбилось... Отряд тут маленький — пять человек. Марина Алексеевна, начальник, ездит на Врангеля каждый сезон с 72-го года, еще Нэля Веденеевна, аспиранты Толя и Лена и вездеходчик Дима... Вчера же, после ужина, засиделись допоздна со знакомством, за чаем и разговорами. О, эти разговоры! Ну о чем, скажите мне, могут говорить совершенно незнакомые люди разных профес-

сий, сошедшись черт-те где, за Полярным кругом, посреди Ледовитого океана? Мы, например, толковали о Микеланджело, о древних греках, о Достоевском...

Сегодня с утра туман, ветер с дождем и холодина. И это — июль, разгар лета!.. После завтрака пришла делегация от радиобиологов. Им, оказывается, для работы тоже нужны лемминги, но они их никогда допрежь не видели и посему просили магаданцев: 1) показать, как этот лемминг выглядит, и 2) посвятить в способы ловли... Магаданцы повели коллег в свой виварий. Виварий расположен у нас с Никаноровичем по соседству, за стенкой. Мы в него уже заглядывали. Лемминги содержатся в просторных стеклянных ящиках, наподобие аквариумов, разумеется без воды, зато со встроенным колесом — совсем как в беличьих клетках. Интересно, что лемминг, посаженный в ящик, сразу вскакивает в колесо и начинает гнать в нем с таким привычным видом, будто у него в норе было точно такое же... А одна беременная лемминжиха, не в силах уже бегать в колесе, пристраивалась рядом и хоть лапой, но крутила... У них почти непрерывная потребность в еде и в связи с этим — в движении. В день лемминг в общей сложности пробегает около десяти километров. Об этом рассказала нам Лена...

Борис Никанорович, со свойственной ему зоркостью художника, приметил будочку на доме леммингологов и полез туда, в надежде оборудовать себе мастерскую. Мне сказали, что в поселке есть постоянные жители: сторож, он же завхоз гидробазы Феликс Зелинский, и чукча Ульвелькот с женой. Их дома на той стороне, за речкой. Я иду знакомиться.

Речка Сомнительная разделяется в этом месте на три мелких ручья, но по ее широкому, высохшему галечно-



песчаному руслу можно судить, как разливается она в половодье... Над речкой два дома — явно жилые. Определяю: возле одного много собак и все на привязи — значит, это дом Ульвелькота. Возле другого крутится всего один, непривязанный пес — здесь, следовательно, живет Зелинский. Для начала захожу к нему. Топится печка, тепло, хозяин пьет чай. Здравуюсь, представляюсь. Услышав в моей фамилии некоторое созвучие со своей, Зелинский встает, подает руку и, широко улынувшись, произносит:

— О, бардзо пшеемне! Феликс Адольфович... просто Феликс... Напие ще, пан, хербаты, то есть чаю? Проще пана...

Благодарю, скидываю мокрую штормовку, сажусь... Феликсу Адольфовичу я дал бы лет сорок пять, ну, может, немного больше. Он худощав, подборист, волосы у него русые, слегка вьющиеся, глаза зеленые, нос славянский, прямой, усы и шкиперская борода рыжеватые, улыбка обворожительная. Из-под свежей черной рубашки виднеется уголок тельняшки. Чисто польская галантность органически соединяется в облике Феликса с корректностью моряка и дополняется еще простотой и открытостью бывалого северянина — все это можно почувствовать, даже не зная его биографии. Но так оно и есть: Феликс — настоящий поляк, родился в местечке Бельско-Бяла, може, пан ве, гдзе то ест, Краковское воеводство... Ребенком переехал с родителями в Западную Украину. Хорошо помнит 1 сентября 1939 года — только пришли в школу, как директор, пан Стачинский, говорит: «Дети, вшысты до дому, разбегайтесь!» И — фашистские самолеты, девять самолетов, бомбы!.. Ну а 17 сентября пришла Красная Армия... В 49-м году призвали в армию, служил на Тихоокеанском флоте, старшиной торпедного отделения, пять лет,

Демобилизовался, поехал с другом на Чукотку. В октябре 54-го — значит, скоро двадцать пять лет будет тому — причалили в бухте Провидения... Кем только за эти годы не был — даже пекарем! Вот это печенье он сам делает, проше пана... Печенье, правда, — изумительное... А в основном он — мастер-кожевник, классный мастер. Иметь такую специальность на Севере, где все кругом друзья, шчезе мувём — откровенно говоря, трудно... Но все это теперь, как выразился Феликс, — «глагол прошедшего времени». Теперь он на острове, вот уже три года. Не скучно? Не-ет, что вы! На зиму из Провидения приезжают сотрудники гидробазы, начинается работа: бурение со льда, лед в проливе до двух метров, промер морского дна... Сейчас он готовится к их приезду: уборка помещений, территории. Одних бочек надо перекачать сколько, очистить место для нового завоза. Эти бочки! В окружной газете прочел, что в Анадыре продается бочкотара населению — по 10 рублей за штуку. Сюда бы кто приехал, он бы бесплатно отдал — только заберите! Если бы пароход какой специально по Северу прошел: столько пропадает металлолому!.. Еще журнал наблюдений ведет, вроде вахтенного, — вот даже птица пролетит, а он записывает... На связь два раза в день выходит с поляркой в Ушаковском, а через нее — с гидробазой... С весны магаданцы приезжают — мышей ловят. Разные другие ученые...

«О, дивно то ест, как это у них распределено: в одном сорок килограммов с ботинками, а в берлогу ныряет, медведя за ляжку — цоп! — укол ему, усыпляет, замеряет... А другой — два метра росту, рыжая бородаща по грудь, и бабочек ловит! — хохочет Феликс. — В прошлом году вздумали на вельботе на Блоссом пройти, там лежбище моржей, а никто не мореходы. Льдом их затерло, вельбот в щепки, веслами на льдине к берегу

гребли, еле спаслись. А у одного какая-то пена морская пропала, по берегу набрал, образцы. И надо же — ничего он так не жалел, как эту пену! Я ему: моли бога, жив остался, а ты — пена... Дивни люди!..

...Раньше, когда заповедника не было, охотились. Сейчас — строго! Всем «охотникам» — выкиньтейн... Но я не понимаю, — продолжает Зелинский. — Сосед мой, Ульвелькот... Ладно, нашему запретить, белолицему брату, но ему?! Он не браконьер, они, чукчи, эскимосы, — никто не браконьеры! Вот у меня, к примеру, сто патронов, и у него сто патронов. Я буду стрелять, пока все не высажу, а он два потратит, и хватит. Он — для еды. Ему самому надо кормиться, собак кормить... Он моржа убил, у него ружье отняли и оштрафовали на 900 рублей. С пенсии высчитывают, а он даже не понимает, что это штраф, за что — штраф, думает, пенсию понизили... А этот морж ведь на острове постоянно не живет. Он сегодня здесь, завтра в Беринговом проливе. Там охотиться можно. Выходит: что его здесь убьют, что там... Очень Ульвелькот переживает! Местным должны разрешить охотиться...»

Феликс мне симпатичен, и оттого, что так горячо вступает за Ульвелькота, симпатичен еще более. Да, еще я спрашиваю его, не знает ли он Юру Иванова. Иванов — мой хороший друг, раньше был начальником станции при маяке на мысе Дежнева, над самым Беринговым проливом. Какой-то журналист, побывав у него, свой очерк так и назвал: «Советский Союз начинается с Иванова». Потом маяк перевели на автоматический режим, а Иванов уехал в Провиденция... «Как же! Хорошо знаю, — восклицает Феликс. — Работает у нас начальником радиомастерской. Человек очень отличный!» Я прошу в очередной сеанс передать ему привет... Время к обеду, пора идти. Феликс вручает мне сверток

с печеньем — то ест презент для милых пань! — и мы расстаемся совсем друзьями...

Туман, пока мы разговаривали, разогнало, но дождь и ветер усилились еще более. Однако я вижу, как цепочка радиобиологов, в длинных плащах с нахлобученными капюшонами и у каждого ведро, движется вдоль речки в тундру — выживать бедных леммингов из их нор «способом затопления»...

Кстати, вчера же, когда ехали, один из радиобиологов — полный, в тонких очках, с интеллектуальной бородкой — все допытывался у меня, что такое «творческая командировка»? «Специально куда-то ехать, набирать так называемый «материал», потом писать... Не улавливаю... Не есть ли в этом нечто искусственное, противоречащее понятию творчества? Ведь элемент творчества, насколько я понимаю, должен быть имманентен, спонтанен...» — говорил он интеллигентно рококущим баритоном и с некоторым превосходством преподавателя точной науки.

Я мог бы дать ему в союзники Пушкина, который написал: «Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Но Пушкин написал это в предисловии к «Путешествию в Арзрум», куда с этой мыслью все-таки и отправился. Тут можно было бы еще порассуждать о том, что внимание нынешних писателей к Сибири и Крайнему Северу есть прямое унаследование великих романтических традиций нашей литературы, обращавшейся некогда к Югу — Кавказу и Крыму... Но не об этом речь — речь о том, может ли поездка быть творческой... Я мог бы взять себе в союзники Гоголя, чьи «Мертвые души» есть прекрасное, вдохновенное, творческое путешествие, предпринятое автором откровенно для «сбора материала», где материал

собирается в открытую, так сказать, на читательских глазах. И — «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! — заучивали мы еще в школе наизусть, бестолково. — Сколько раз как погибающий и тонущий я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько переживалось дивных впечатлений!..» — «И я!.. И во мне!..» — мог бы теперь следом воскликнуть я, да и не только, наверное, я... Кое-что мог бы я скромно прибавить и от себя к творческой характеристике дороги. Вот я сижу дома, за своим столом, размышляю над чем-то, очень далеким от Севера, впечатления детства обступили меня... обступили, но и не более! Не идет работа!.. Тогда я вдруг срываюсь, мчусь за тридевять земель, на Чукотку, живу там в палатке с оленеводами или охочусь с чукчами на моржа, напрочь забываю обо всем, что меня мучило и не выговаривалось... Когда же возвращаюсь, постранствую; — господи! как ясно и просто становится все: и мысль, и выражение ее, — и повесть, брошенная на полуслове, на которую и смотреть-то было тошно, приобретает теперь будто обновленный смысл и дописывается как бы сама собой... Да уже по одному этому такую поездку можно считать творческой!.. Наконец, я ведь не езжу в незнакомые мне места. Я ведь не рвусь ни в Тюмень — Сургут, ни на Бам — Тынду — места, может быть, и самые великие сейчас по свершениям, и оттого особенно соблазнительные для литератора, но я там раньше никогда не бывал, не жил, не работал, никого и ничего не знаю, и вот там я бы действительно «сбирал материал»! Я же давно и неизменно привержен своей Чукотке, которую люблю и которую знаю, по крайней мере, настолько, чтобы, приехав, разом оказываться внутри жизни, а не пребывать сторонним наблюда-

телем... А взять Бориса Никаноровича — он что? калечит себе ноги на «голубых дорогах» разве для того только, чтобы собрать материал и сделать картину к выставке? Он мог бы в таком случае написать ее и на Черном и на Азовском море, где потеплее, или вообще не выезжая из Москвы, которая, как известно, порт пяти морей... Но ему, наверное, именно эти воды, в обрамлении именно этих сопок нужны!.. Эх, все это и многое другое я мог бы объяснить нашему попутчику, но почему-то не стал. Отъехать от Москвы на шестнадцать тысяч километров, чтобы встретить московского интеллигента и где-то посреди врангелевской тундры вести с ним подобные разговоры?.. Между прочим, это оказался один из тех радиобиологов, что приходили поутру смотреть, какой такой из себя этот лемминг, которого приехали они отлавливать...

К вечеру утихают и ветер, и дождь. Солнце сейчас с северной стороны острова, за горами нам его не видно, но ясный и спокойный блеск ночного неба и тихая розовая полоска над морем обещают назавтра хорошую погоду. Уже поздно ночью, перед сном, гуляем с Никанорычем за поселком, по берегу бухты. пляж ровный, будто нарочно выглаженный. Посматриваем под ноги: мало ли что интересного попадется? Мелкие ракушки, пустые панцири крабиков, галька с круглым багровым наростом какой-то морской водоросли... Лед стоит от берега метров на двести, вернее, не стоит, а движется, потому что доносится оттуда смутный немолчный шорох и временами всплеск. Нерпа нет-нет и выставится в разводье, да так близко иногда, что видны капли воды на коротких жестких усах, а в круглых, темных, зеркально-влажных выпуклых глазах — сферическое отражение берега и неба... Далеко в море хриплые стоны перемежаются с прерывистыми, будто захлебывающи-

мися, трубными кликами — это моржи идут на Блоссом. Говорят, в иное лето их там собирается до семидесяти тысяч... У Бориса Никаноровича подзорная труба, и, взобравшись на невысокий береговой обрыв, мы напариваем, наконец, у горизонта, средь белого пространства льда, три темных пятна поодаль друг от друга — три небольших стада. Далеко, но в тишине эти звуки разносятся на всю округу... На острове вообще тихо, так тихо, что тише уж, кажется, быть не может, а белая ночь устанавливает еще свою, только ей присущую тишину. И тишина эта — вовсе не молчание, вот что всегда удивительно! Тишина ночи, соединенная с темнотою, и звуки в этой темноте, конечно, загадочны, но тишина и свет таинственны по-иному, еще более мучительны и непостижимы, ибо все вроде бы на виду — вот чайка или какая другая птица... ее полет и крик... — но все равно не понять, не проникнуть... И вот — и только после этого сознаешь, что все время чего-то недоставало, — вдруг, разом, слаженно и протяжно, словно тоже ощутив невозможное, томительное действие этой тишины, взвыли собаки Ульвелькота, и светлая чукотская ночь приобрела эстетическое завершение свое...

23 июля. Воскресенье, но леммингологи, как обычно, отправляются в обход «охотничьих угодий». Выходных в «поле» нет. Перед уходом Нэля Веденеевна раскидывает карты на лемминга, тут все определено: лемминг сибирский — валет пик, лемминг копытный — валет червовый, беременная самочка — дама червей в сочетании с червовой девяткой или десяткой. Было дело — по просьбе Володи Вовченко гадали даже на овцебыка, установив: Вовченко — король крестовый, овцебык — король пик. Но вместе они не выпали... Теперь

Вовченко далеко, в казенном доме — в институте то есть, с тяжелыми думами на сердце — про овцебыка, конечно, но ждет его хорошее известие, потому что «король пик» бродит где-то тут, рядом, натурально, скучая по «королю треф»...

...Я вызываюсь сопроводить Нэлю Веденеевну — на случай, если лемминга будет столько, что одному не снести. Но это маловероятно. В этом сезоне их почти нет. «Леммингографический взрыв» был в позапрошлом, в 76-м году... Кое-что мне приходилось раньше читать про этого зверька — особенно впечатляют рассказы натуралистов о резких увеличениях численности лемминга, случающихся периодически, раз в три-пять лет, и о столь же резких спадах. Причем, в год «пика» в колониях лемминга наблюдается страшное волнение, суета, агрессивность, взаимная озлобленность и вражда... Здесь, кстати, для сравнения, так запрашиваются примеры из нашей с вами обыденной жизни, но это, разумеется, как и обратное сравнение, лженаучно — я понимаю... Необъяснимая тревога и беспокойство зверьков, наконец, выливаются в их массовую миграцию, а проще — в повальное бегство, куда глаза глядят. Стада леммингов бросают привычные места своего обитания, устремляются неведомо куда, по дороге переплывают речки, наводняют населенные пункты, очутившись на берегу моря, кидаются в его волны, тонут... Причины таких резких колебаний численности лемминга, равно как и биологический смысл его «великих исходов», учеными пока не выяснены. Предполагали все: от самых примитивных, «земных» воздействующих факторов, таких, как истощение кормовой базы, до космических — изменения солнечной активности, но ни одна из этих гипотез, ни в отдельности, ни в комплексе, научно еще не подтверждена.

Эндокринологи из ИБПС занимаются проверкой своей версии, что все эти катаклизмы в мире лемминга связаны у него с изменениями в деятельности желез внутренней секреции: гипофиза, гипоталамуса, надпочечников, щитовидки... Если бы, например, удалось установить, что в год, предшествующий «пику» численности, у лемминга активизируется его репродуктивная способность!.. И соответственно, наоборот: что после «пика» лемминг дает потомство с ослабленной репродуктивной функцией... Все это эндокринологи надеются определить, изучая под микроскопом «срезы» интересующих их органов и пытаясь уловить в них возможные морфологические перемены... Разглядывал и я вчера какой-то «срез» — подсиненную капелку посреди стеклышка, — выглядевший очень красиво, словно битый морской лед с громадной высоты, в голубоватой туманной дымке... Дома, то есть в институте, магаданцы используют электронно-микроскопическую аппаратуру. В лабораторных условиях возможен еще и биохимический анализ... Но результата — ни положительного, ни отрицательного — пока нет, и маленький лемминг по-прежнему остается загадочным и, пожалуй, самым загадочным из животных Арктики. Достаточно сказать, что жизнь многих из них зависит от лемминга. В год обильного его размножения и у песцов появляется по десятку-полтора щенят. О лемминговом «пике» непостижимо узнают и во множестве прилетают полярные совы, поморники, а с ними и черные казарки — маленькие изящные гуси, которых не интересуют лемминги сами по себе, но они гнездятся вокруг этих хищников, защищающих их от песцов... Не брезгует леммингом белый медведь. Даже травоядный олень туда же: учуяв под настом лемминга, он словно безумеет и принимается копытить снег, что некоторые ученые объясня-

ют солевым голоданием... И только самого лемминга будто бы не волнуют грубые факторы материального бытия, он продолжает существовать, как бы погруженный в свою внутреннюю жизнь, и внешние ее проявления никак видимым образом не связаны с благотворными или неблагоприятными воздействиями окружающей среды. В связи с этим специалисты вынуждены говорить о «тайне саморегуляции численности вида»...

...Возле каждой колонии, где установлены «живоловки» — продолговатые жестяные коробки с входными воротцами, которые захлопываются, когда лемминг туда попадает, — эндокринологи втыкают флажки, чтобы легче отыскивать потом это место на плоскости тундры. Пока мы переходим от флажка к флажку — и переходим пока безрезультатно, — Нэля Веденева прибавляет к моим «общетеоретическим» сведениям о леммингах различные, весьма любопытные подробности. Например, что в годы «пика» мигрирует только норвежский лемминг, а врангелевский, можно считать, «домосед». Правда, наводняет тундру так, что, бывает, ступить некуда. В разные годы плотность его на острове колеблется от 0,5 лемминга до 600 на гектар... Еще: у лемминга, оказывается, «громадная» печень — целых 2,5 грамма, что в соотношении с общим весом гораздо больше, чем у моржа и даже у кита... И что в еде он прихотлив и столь же загадочен: то ест паррию, то в упор ее не замечает... Копытный, скажем, любит дриадку, а сибирский — пренебрегает... Копытный называется так не оттого, что у него настоящие «копыта», но похожие на них утолщенные, развитые коготки на передних лапах, что очень помогает рыть снег... И каждый лемминг, если долго наблюдать за ним, обнаруживает свой характер: один флегматик, другой холерик.

Но даже самый флегматичный лемминг в сравнении с любимым другим животным — необыкновенно реактивен и в этом смысле является для исследователя «идеальной моделью». О, это я уже заметил! Каждый зоолог, работающий на острове, почему-то именуется интересующий его вид «моделью». Когда-то Георгий Алексеевич Ушаков назвал остров Врангеля «островом метелей». Ну, а теперь я бы сказал, что это «остров моделей». Не бог весть, конечно, какой каламбур, но что ж делать, если это действительно так? От орнитолога слышишь, что гусь — «модель», от териолога, что медведь — «модель»... Вот и лемминг — «идеальная модель»...

Бродим уже часа два — все бесполезно: «модель» сегодня отлавливать не желает. Москвичам вчера тоже не повезло — вычерпали ведрами, наверное, целый суточный сток речки Сомнительной, но ни один лемминг из норы так и не вылез. А может, они заливали старую, нежилую колонию, их надо уметь различать... Нэля Веденева разведывает новые участки, чтобы переставить туда «живоловки». Вот так они и ходят каждый день, эндокринологи, по два раза — утром и вечером: пойманный лемминг не может долго без еды. А весной, по снегу, чтобы зверек не заоченел в металлической коробке, ловушку «усовершенствуют» — надставляют старой обувью: сапогом, валенком. Двигается по тундре фигура, увешанная валенками... За день, говорит Нэля, так насмотришься на эти норы, что вечером, перед сном, только они в глазах и мелькают... Сама она из Кишинева, там училась, работала, защитила диссертацию по репродуктивной функции у крыс. Теперь изучает ту же функцию у леммингов. На острове Нэля первый сезон, но на Чукотке несколько лет: до института биопроблем работала врачом в Провиде-

ния. Так что Север ей знаком... Ехала сюда, в «поле», наслушалась рассказов и все готовила себя к встрече с белым медведем. А когда увидела, как побегала!.. Потом, конечно, жалела: что же это, и не рассмотрела как следует... А Марина, она здесь седьмой год, говорит: подожди, еще всех увидишь. И медведя, и моржа, и овцебыка... Еще надоест!..

Я уже поминал, кажется, что раньше общался в основном с людьми так называемых «мужественных» профессий — с геологами, горняками, полярниками, охотниками-морзверобоями... И потому теперь мои новые знакомые мне особенно интересны. Какие-то у них совсем другие характеры, лица!.. Какая-то самозабвенная углубленность в свое тихое, мирное дело... Сыроечковский со своими гусями... Тот человек, про которого говорил Феликс Зелинский, что сам чуть не утоп, а сокращался о «пене»... В доме, где поселились мы с Никаноровичем, живет еще один биолог — Женя Макаrenchко из Владивостока. Точнее, он — гидробиолог, изучает насекомых, обитающих в воде. На острове Врангеля Женя, как он сам объяснил, оказался со своей специальностью первым — первым гидробиологом вообще, за всю историю острова! Это же осознать надо... Целыми днями Женя пропадает в тундре, на ручьях и озерах, а вечерами, благо светлые, сидит за микроскопом. Ему уже удалось найти каких-то комаров со сложным названием «хиронамиды», это родственники комаров-звонцов. «А американцы уверяли, что только у них... Ну теперь картина распространения совсем иная!.. А это личинки мошки, интересно, будет ли она кусаться, когда выведется, это надо проверить... А вот этого комара-долгоножку, — Женя показывает пробирку, — я не классифицирую. Пошлю в Киев, там есть человек, он их классифицирует. Такого, с Врангеля, у

него еще нет!.. И бабочку я пока не поймал, а ведь должны быть..здесь бабочки...»

«Ты обратил внимание, — заметил мне потом Борис Никанорович, — на его внешность? Волосы белокурые, лоб благородных очертаний, глаза большие, серые, нос идеальной формы — лицо романтического поэта, Шиллера!.. А про своих комаров рассказывает — выражение просветленное, в глазах огонь, будто излагает замысел новой поэмы!.. Нет, — пробормотал Никанорович, — они все фанатики, Паганели, сущие Паганели...»

...За то время, что мы с Нэлей Веденевной осматриваем лемминговые колонии, туман окончательно рассеивается, и мы обнаруживаем себя почти у самого подножия сопки — довольно далеко от домиков на берегу бухты. Возвращаемся как раз к обеду...

Когда мы выезжали из Ушаковского, зам по науке Сазонов, напутствуя нас, очень настоятельно просил, чтобы мы без него, Сазонова, дальше Сомнительной — никуда. Он сам приедет через два дня на тракторе и свезет нас на гнездовье. Трактор — это вообще-то хорошо, потому что Никанорович ходить на дальние расстояния пока не может. Нога его — снизу доверху всех цветов и оттенков и вдобавок отекала. Нэля, как бывший врач, осматривала ее и посоветовала Никаноровичу побольше лежать. Но он бодрится — распотел где-то металлическую трубку, воткнул в нее веточку оленьего рога и передвигается теперь с помощью этой самодельной клюки... Обещанных два дня прошли, следовательно, завтра надо ожидать товарища Сазонова.

24 июля. Тихо и пасмурно, без дождя. Тучи, серые и плоские, лежат на вершинах сопки, скрывая их. С утра радиобиологи приходили с деловым предложением:

они будут рвать корм для леммингов и таскать его в виварий, согласны исполнять и любую другую «черную» работу, а магаданцы пусть помогут им с отловом леммингов. Сами они поймали пока только одного. «А у вас техника, опыт...» Магаданцы обещали делиться добычей. Тем более что они работают в основном с копытным леммингом, москвичей же интересует сибирский...

Сегодня навестил Ульвелькота. «Ульвелькот», насколько достаёт мне знания чукотского, означает «Вставший», но не в смысле «поднявшийся», а — «остановившийся». Улвэл — это привал, отдых, неподвижность... Есть у него и русское имя: Иван Петрович. Когда-то я пытался изучать чукотский, пока не понял, что мне ни за что не осилить малейших оттенков произношения. Имеется, например, у чукчей слово «кан'олгын» — большая чайка, морской разбойник. Есть «кан'олгын» — веточка шикши. И вдобавок еще — «канаёлгын», то есть бычок, рыба... Когда чукчи говорят, у них будто что-то мягко перекачивается, переливается в горле...

Ульвелькот посиживал возле своего дома. Его молчаливая жена, которую он отрекомендовал на русский манер — *Клява*, что-то варила тут же, на улице, в огромной закопченной кастрюле, подвешенной над костром. Ульвелькот — пенсионер, но он сухощав, строен, голову, остриженную по обыкновению чукотских стариков наголо, держит прямо. Родом он из Ванкарема — это на побережье, километрах в двухстах восточнее Шмидта. Я вспомнил, что ванкаремские чукчи на своих упряжках помогали вывозить челюскинцев со льдины, и спросил его, помнит ли он это. Но сам Ульвелькот был тогда подростком, как вывозили — помнит плохо, зато запомнил очень хорошо, что в тот год, когда

да «Челюскин», как он выразился, «поломался», море долго выбрасывало много разных вещей: тюки с одеждой, жестяные запаянные коробки с конфетами, фруктами, даже ламповое стекло — ящик. Они находили...

На острове Ульвелькот с 51-го года, то есть почти тридцать лет. «Тогда ничего не запретили, даже медведь не запретили, оружие давали новый — карабин, дробовик... Охотился, байдара была, моржа бил, лахтака, нерпу — в колхоз, собачкам, себе кушать, на приманку песцам... Потом сделали заказник, медведь запретили... Стал егерем, медвежат ловили, Москва отпразднать: ма-аленький, меньше собака... Моржонка тоже ловили... А потом сделали вот этот... — не то сказал, не то спросил с недоумением Ульвелькот, — заповедник?» Разговаривая со мной, Иван Петрович время от времени подносит к глазам бинокль, привычно оглядывает морской лед. «Кричат, кричат... весь день кричат», — говорит он, имея в виду моржей. Помня, что рассказывал мне Феликс Зелинский, спрашиваю Ульвелькота, как ему живется сейчас. Не в обычае людей Севера жаловаться на жизнь — это все равно что жаловаться на самого себя, — но и хитрить, притворяться не в обычае, и потому ответ Ульвелькота сложен:

— Ничего, хорошо живу... только немножко плохо...

Кстати, «немножко плохо» — это даже не о себе, сам-то он пенсию получит, продуктов купит, но Ульвелькот думает о своих собаках. «У нас собачек шесть, а кормить только мукой... Варим, — кивает он на кастрюлю. — Мука, жир, немножко оленьей крови от прошлого года забоя... Другой район разрешают моржа бить, наш — нет...» А почему он с образованием заповедника не переселился, как многие, обратно в Ванкарем или на Шмидт? Он хотел... Он очень переживал, когда другие переселились, и тоже собирался, но по-

том раздумал. Они помоложе... У него в Ванкареме никого не осталось, отец, Анкалькот, тоже охотник был, давно умер... Дочь на Шмидте работает, письма пишет — очень народу много. Здесь лучше...

...Женщина все мешает в кастрюле длинной палкой. Собачки терпеливо полеживают в ожидании кормежки. А вынести бы им по доброму куску копальхена, перебродившей с осени в мясной яме моржатины, — как бы они повскакали! Как прыгали бы они, как опрокидывались бы натянувшейся цепью, как ловили бы на лету и проглатывали мгновенно, только раз-два потряхнув головой, как просительно посматривали бы затем, безостановочно виляя хвостами, — не перепадет ли еще?... Но, выходит, что и копальхен теперь — дефицит...

Спрашиваю Ульвелькота, есть ли у него таа'койн'ын — трубка. Он идет в дом и выносит коротенькую трубочку. У меня с собой отличный табак, «Амфора» в красной упаковке, я делюсь с Иваном Петровичем, и мы закуриваем... От стариков чукчей — как я давно заметил — даже когда просто вот так, молча, сидишь рядом с ними, исходит и передается вам ощущение небывалого покоя. Я верю, что у всякого человека с годами на лице — иногда отчетливо и резко, иногда надо только присмотреться, — помимо множества сменяющих друг друга обиходных выражений, проступает и уже навсегда запечатлевается одно, главное, являющее теперь открыто и всем установившуюся суть этого человека. Так обнаруживаются и остаются преобладать в лицах изначальная доброта, неистребимая веселость, выработавшаяся сухость, победивший душу расчет... В лице Ульвелькота — гармония, лад с самим собой и окружающим его миром, в котором он прожил всю свою жизнь. Вряд ли точно будет сказать, что он



жил и живет бок о бок с природой, на лоне природы и даже — наедине с ней; нет, он живет именно в лоне... или так: они вместе, он и природа, живут наедине с собой... Такое лицо еще принято называть мудрым, но это мудрость не поучающая, не навязывающая себя, не изрекающая готовых рецептов: запоминай и пользуйся — взять от нее можно только в меру собственной приуготовленности, только с помощью самостоятельной душевной работы. Как от той же природы... Но я не обольщаюсь, что его мудрость универсальна, всеобъемлюща, я знаю, как этот человек растерялся бы, утратил свой гармонический покой в другой, непривычной ему обстановке — например, в моем городе. И я знаю также, что мне, чтобы жить в моей среде, требуется, пожалуй, побольше мужества, терпения, выносливости, стойкости, чем ему здесь, среди его природы, которая с ее пургами, морозами, снегами, штормами, с пустынными горами и тундрой все равно остается для него как бы стенами родного дома... Еще я размышляю о том, что Ульвелькот никогда не поймет идею заповедника, не прочувствует мысль об «охране» природы, и вот почему: ведь он ее и раньше, до того как «запретили», не губил, не грабил, — это было бы равносильно тому, чтобы грабить себя, — и потому не настиг его комплекс вины перед нею...

...Откуда-то со стороны моря прихромал к нам неугомонный Борис Никанорович. Он, оказывается, обнаружил на берегу настоящую чукотскую байдару. Это байдара Ульвелькота. Я тоже хочу посмотреть, и мы идем все трое. Она лежит на косе, как раз где речка Сомнительная вливается в бухту. Байдара заботливо перевернута вверх дном, уложена на обрубки бревен... Борис Никанорович просит Ульвелькота разрешить ему замерить и зарисовать байдару. Малые суденышки:

лодки, катера, яхты, катамараны — его страсть, каждый вечер за ужином художник потчует нас рассказами, как в прежних своих путешествиях сплавлялся по речкам Кольского полуострова, Архангельской области, Северного Урала... Вдвоем с ним мы легко поднимаем и переворачиваем байдару, она небольшая, человек на шесть. Теперь видно, что моржовая шкура, обтягивающая ее, завернута краями внутрь и притянута лахтачьими ремнями к каркасу. Видны также дыры — в боках и днище. Старая уже байдара... Ульвелькот поясняет, что шкуру сначала расслаивают надвое и натягивают на остов сырой, а потом сушат — с одной стороны и с другой. Таким образом, усохшая шкура обтягивает остов идеально, сидит на нем, как облитая... Еще он говорит, что для байдары обязательно нужна шкура молодой моржихи — шкура самца или взрослого зверя была бы слишком тяжела, груба... Значит, теперь, чтобы починить байдару, понадобилась бы шкура молодой моржихи. Но и чинить ее, видимо, уже ни к чему... Наверное, это самая последняя байдара в мире, ее сделал старик эскимос Нанаун, приехавший на остров еще с Ушаковым. В прошлом году он умер... Это самая последняя, но и самая древняя байдара, потому что точно так делали ее и тысячу, и две тысячи лет назад... Борис Никанорович извлекает из кармана своего балахона рулетку — он старый и запасливый путешественник — и тщательно, до сантиметра, обмеряет байдару, все ее внешние и внутренние размеры, расстояния между сиденьями, высоту бортов и т. д. Потом зарисовывает ее, с точностью до последней ремешковой петли. У него идея — сделать себе такую же, заменив шкуру брезентом, а брезент, чтобы не пропускал воду, чем-нибудь обработать... «Между прочим, — обращает внимание Борис Никанорович, — самый боль-

шой развал бортов у байдары не точно посередине, между кормой и носом, а сдвинут в сторону кормы, что придает ей наибольшую обтекаемость. То есть древние мастера знали то, что в наше время конструкторы установили с помощью математических расчетов...» Я тем временем с помощью Ульвелькота пополняю свой лексический запас. Байдара по-чукотски — ы'тв'ээт. Верхние боковые дуги каркаса — вырвыр. Нос лодки — рэк'ыр. Доска для сиденья — вивыр. Весло — тэвэнан', а во множественном, весла — тэвэнан'ат.. Потом я фотографирую последнего охотника острова Врангеля возле его последней байдары...

К полудню со стороны пролива сквозь тучи провалось, наконец, солнце, облака сдвинулись с сопки, и склоны их засверкали — каждый своим цветом. Ближние — черно-зеленым: камень с травой. Чем дальше, тем больше прибавляется голубизны и синевы, самые отдаленные, я бы сказал, — какие-то угрожающе синие... В середине распадка, с правой его стороны, один склон — сплошной, от вершины до подножия, ровно ниспадающая осыпь, и вся она — веселого, жизне-радостного, золотистого цвета с проступающими местами ярко-оранжевыми пятнами. Такое впечатление — оно сохраняется и в пасмурные дни, — что только на эту сопку и падает солнце... То-то хлопот теперь Борису Никаноровичу!.. И вечер наступает — опять ясный, тихий, умиротворенный и опять обещает хорошую погоду на завтра...

25 июля. Вчера Сазонов так и не приехал. Посему сегодня в 9 утра ходил к Феликсу, он в это время связывается с поляркой. В соседний балок, где у него рация, Феликс идет в пижаме и в тапочках на босу но-

гу. Хотя и лето, и тепло, и сухо, а все-таки забавно: по острову Врангеля в таком одеянии... Полярники по моей просьбе звонят в контору заповедника, и зам по науке передает, что машина у него сломалась, трактор занят хозяйственными работами, но чтобы его тем не менее ждали — он обязательно приедет. «Не сегодня и не завтра, но — днями...» Оригинал он, видимо, этот товарищ Сазонов! Тут каждый день, можно сказать, на счету, а он — «днями»! Хоть не обещал бы...

С утра ясное небо, яркое солнце и сильный юго-восточный ветер — с пролива. После завтрака я отправляюсь бродить, иду сначала вдоль речки, потом русло ее отклоняется вправо, в распадок, а я беру напрямик через тундру, к ближайшей сопке с черным каменным многозубчатым гребнем наверху. Тундра здесь удивительна, такой я никогда не видел!.. Прогалины совершенно обнаженной, рыжеватой, в сетке морозобойных трещин, земли перемежаются полянками с густой ярко-зеленой травой и цветами. Обилие и многообразие цветов поражают прежде всего: желтые полярные маки, лютики, незабудки, разнообразные, от белых до лиловых, подушечки камнеломковых... Я жалею, что не знаю названий многих северных цветов, я могу лишь отмечать: похожие на колокольчики... похожие на сирень... на ирис, нарцисс... Но вот эти я уже умею отличать: сиренево-розовые, столбиками, производящие впечатление слегка растрепанных и вяловатых, роскошные для Арктики соцветия кастиллеи элегантно — реликта древних эпох... И все это не «устилает живым ковром», не «захлестывает буйно» ваши ноги, но как можно теснее жметя к земле и как можно ближе друг к другу. Каждая ложбинка, ямка, впадинка, хоть на сантиметр, да пониже общей равнины, — оазис!.. Вот

карликовая ива с темными гладкими листочками — толщина ее серого, много раз перекрученного, ползущего по земле ствола, толщина всего-то в палец, напоминает, однако, о том, что этой иве двести, а может, и триста лет... А вот другая — иной вид, с дымчато-сизыми листиками — так вжалась в рыхлую кочку, давшую ей приют, что снаружи осталась только листва, как будто растущая прямо из земли... Я ловлю себя на том, что, очутись я здесь лет пятнадцать назад, шел бы и шел безостановочно — как и ходил тогда, — глядя вперед и вверх, наметив себе целью вершину, а сейчас я иду медленно, смотрю все больше под ноги, останавливаясь то и дело, стою подолгу возле этих полянок, вглядываюсь в маленькую и такую упорную, неистребимую жизнь. Наконец, я не выдерживаю, прилаживаю к фотоаппарату телевичок и вовсе ложусь на землю рядом с очередной полянкой — осторожно, сбоку, чтобы ничего не помять. И тут, расprostершись на земле, я вдобавок ощущаю, как все эти цветы пахнут!.. Не настоявшийся, не густой, не чрезмерно бьющий... но тонкий, на секунду пронзающий и как бы исчезающий сразу же, после вдоха, запах. И опять — с новым вдохом... А в центре этого пятка три стебелька мака, вырастающие из одного корня, выгнулись под ветром и так застыли: настолько ровно, не ослабевая и без порывов дует он от пролива. Только лепестки трепещут... Рядом с маком — цветы нардоосмии ледяной, арктической родственницы мать-и-мачехи, с резными, блестящими, темно-зелеными листьями у самой земли. Ее стебли, более толстые и жесткие, не гнутся, но и они вздрагивают. Вот этот ветер, это подрагивание и трепетание я и надеюсь запечатлеть...

...В юности мечтаешь, кем станешь, — размышляю я, идя далее, — а с возрастом начинаешь сожалеть, кем

не стал. И, как правило, эти мечты и сожаления не совпадают. Мечтаешь, разумеется, сделаться летчиком, моряком, геологом... а жалеешь, что не стал, например, ботаником — знал бы сейчас все об этих цветах и травах. Или орнитологом — изучал бы себе птиц, вот этого пестренького, темного с коричневым, лапландского подорожника, что выскочил откуда-то при моем приближении и побежал суетливо, топорща крылышки, почти стелясь по земле... И вдруг: «Тундра, чем далее, тем становилась прекраснее», — приходит мне на ум!..

Ближе к подножию сопки — старый кораль, полярная сова обосновалась на одном из столбов его развалившейся загородки, подпустила меня метров на сто, не более, и снялась. Когда-то тут производился забой: олени рога раскиданы во множестве, и по отдельности, и целыми кучами. Груда оленьих рогов напоминает мне огромный костер — с тонкими, обесцвеченными на солнце, свивающимися языками пламени, только что вспыхнувшими, устремившимися вверх, да так и застывшими...

Примерно часа два затем, столь же неторопливо, поднимаюсь на сопку. Впереди меня — песок, по-летнему ободранный, тощий, в клочьях бурого и грязно-серого меха. Время от времени он оборачивается и, изогнувшись, надсадно, будто заматерелый курильщик, сипит в мою сторону: х-х-ха... х-х-ха... Потом исчезает за уступом террасы... Чем выше, тем, казалось бы, меньше должно быть растительности, цветов, но они не убывают. Здесь так же жарко, как и внизу, и стало, пожалуй, еще жарче, потому что ветер внезапно стих... Но вот все чаще начинают попадаться черные сланцевые осыпи и голые каменные выступы. Вот и снежник у вершины, видевшийся из поселка маленьким белым пятнышком, а тут — обширное снежное поле. Пересе-

каю его, оглядываюсь и вижу одинокую цепочку своих следов, от которых как-то сразу отчуждаешься в этом безмолвии и пустоте, и потому воспринимать их странно... На вершине некоторые глыбы усеяны щеточками кристалликов горного хрусталя; здесь же, «где не ступала нога человека», валяется старая ржавая кирка и вокруг множество брызнувших из-под нее в свое время каменных осколков: видно, не один посетитель вершины пытался отколоть себе на память... От зубчатого гребня, выглядевшего со склона пределом высоты, открывается другой пик этой же сопки, повыше, и теперь хочется подняться на него. Пробираюсь к нему по узкому хребту, как по тропинке. Вот уж здесь-то совершенно голо — это, как выражаются специалисты, зона горных арктических пустынь... Сланец на вершине горы выветрен и иссечен так, что разъединился на тонкие, частые, вертикально торчащие пластинки — когда проводишь по ним рукой, они гнутся, как бумага. И по виду напоминают корешок сгоревшей книги... «А что... — начинаешь вдруг думать, настраиваясь на этой высоте соответственно на возвышенный лад, — что, если и в самом деле испепелилась здесь в незапамятные времена древняя Книга, заключавшая в себе все откровения и разгадки всех тайн нашего бытия?! И мы теперь, все человечество, безуспешно пытаемся...» Но нет — не настраивается, как прежде... Да, если бы прежде, я непременно отправился бы и на третью вершину, поднявшуюся еще выше этой, я постарался бы разглядеть оттуда северный берег и горизонт океана, а если бы не открылся он, пошел бы и далее, замороженный все новыми очертаниями новых вершин. Наконец, я поднялся бы на самую высокую гору острова и стал бы там, с гордым удовлетворением озирая все вокруг, внизу и вдали. «Отселе я вижу...» и т. д. Но я

увидел бы не только обозримое пространство, я представил бы у своих ног весь земной шар, расположил бы по разные стороны от себя все его материки и океаны. И я обязательно совместил бы эту высшую точку с высшей точкой своего собственного состояния, пометил бы ее на взлетевшей вдруг кривой, которую — я верю в это — неуклонно вычерчивает некий, постоянно бодрствующий в глубине нашей души самописец...

А сейчас меня уже не тянет идти дальше, и не потому, что я устал, — с отрадой отметил я, что могу ходить так же свободно, как прежде, — но меня почему-то не очаровывает больше прекрасная, величественная и холодная, замкнутая в себе жизнь вершин, не прельщает уединение в безмолвной и бесплодной высоте, и все свои возможные в этом одиночестве мысли я наперед знаю. Меня влечет та живая жизнь внизу, которую я только что наблюдал, и поэтому я возвращаюсь обратно, минуя снова зубцы, спускаюсь ниже по склону, нахожу какой-то уютный, полукругом, каменный уступ и смиренно усаживаюсь в его тени. Отсюда хорошо видны домики поселка, дальняя коса, ограничивающая бухту, с решетчатой башенкой маяка на конце, другие заливчики, помельче. Судя по тому, что солнце на западе, уже далеко за полдень... Сначала все тихо и пустынно кажется вокруг, но вот возникают звуки. Слева от меня, все еще довольно глубоко внизу, в распадке мерно шелестит по камням речка. Справа, рядом, в траве низвергается с горы, из-под снежника, ручей, глубина его гораздо больше, чем ширина, тут свои маленькие водопады, водовороты, прижимы, свои бездонные заводи. И звук его иной, чем у речки, — булькающий и гулкий... Налетел откуда-то с гудением большой яркий шмель, помотался перед моим лицом из стороны в сторону, словно на тугой, не отпускаяю-

щей его резинке, и — оборвалась резинка, исчез... Потом прилетел куличок-тулес и начал печально рекомендоваться: ту-у-лес... ту-у-лес... Объявился снова песец — наверное, где-то неподалеку у него был дом, — бежал, не видя меня, прямо ко мне и вдруг замер от неожиданности. Смотрел, смотрел, затем, желая, видимо, показать, что ничуть не испугался, присел и, выгнув облезлый хвост, помочился. Какое забавное сочетание трусости и одновременно наглости в этой его позе!.. Вслед за ним возникли, кружа, две маленькие чашечки, и они меня уже не покидали: одна продолжала летать, издавая редкие монотонные крики, другая опустилась и принялась расхаживать вокруг меня как бы дозором, появляясь то справа на кочке, то слева... Какое-то пронзающее и щемящее чувство умиления, жалости и любви к этой скудной жизни, которого никогда с такой особенной силой не ощущал я в себе прежде!.. Может быть, и в глобальных масштабах все происходит так же, и идея охраны природы посещает человечество в определенном возрасте? — думаю я...

Вернувшись мыслями к заповеднику, я вдруг не весь мир, но один этот остров с его сиюминутной жизнью воображаю себе очень хорошо. Прямо передо мной, в тундре, копошатся и ждут своего «звездного часа» лемминги. На западе на галечные пляжи мыса Блоссом вылезают все новые и новые стада моржей. С противоположной, восточной стороны острова, на карнизах скал мыса Уэринг расселись разные морские птицы — там стоит немолчный гомон птичьего базара. У меня за спиной белые гуси вместе с выводками покинули гнезда и отправились пешком дальше на север, в тундру Академии, за ними, словно выпасая их, движутся орнитологи, а вокруг шныряют обнаглевшие в своей безнаказанности песцы. Где-то там же, в глубоких распадках

Центральных гор, невозмутимо пасутся потерявшиеся овцебыки. Из конца в конец острова, будто взбесившиеся, с тяжелым топотом проносятся полчища свирепых врангелевских оленей, выискивая, чего бы им еще растоптать и уничтожить... И со всех сторон, с моря Чукотского и Восточно-Сибирского, кочуя с одного ледяного поля на другое, к острову медленно, но неотвратимо начинают стягиваться медведицы: ведь не так далеко и до сентября, первых метелей, самой поры для залегания в берлоги — не надо ни разгребать, ни копать, отыщи безошибочным чутьем место на склоне, где побольше наметает снега, ложись, и берлога сама образуется вокруг тебя... А мне пора уезжать, и я ничего этого уже не увижу... Да что я — не видел разве никогда этих гусей, моржей, медведей?! Какая разница: здесь ли... на побережье... — утешаю я себя. И все-таки — жалко... Но к чему эта непременно спешка, эти материковские слова «пора», «надо»?.. Уверен ли ты, что доведется еще когда-нибудь побывать здесь, посидеть вот так, в тишине и покое? Так не торопись, по крайней мере, сейчас, заранее, лучше посмотри, осознай и запомни...

Я достаю свою трубку, тщательно набиваю ее, раскуриваю, прижимая пальцем вспухающий табак, и долго еще сижу — без всяких мыслей... Когда я уйду, две чашечки летят надо мной с грустными возгласами почти до самого дома, как будто нет у них собственного гнезда, ни детей и единственная их обязанность — найти одинокого путника и проводить его в тундре... Возвращаюсь глубокой ночью, все спят.

26 июля. ...И все-таки уезжать пора... Опять с утра иду на связь, спрашиваю Клейменова, не придет ли свой вездеход. «Вчера механик в нем ковырялся, не

знаю, починил ли... Если на ходу — то будет», — отвечает Яковлевич... День проходит в ожидании и в ученых разговорах с магаданцами. Я все больше влезая в лемминговую проблему: могу уже свободно оперировать такими терминами, как «функция надпочечников», «стрессировать», отличаю сибирского лемминга от копытного и «проэструс» от «эструса»... Впрочем, если бы я всерьез занялся леммингами, я бы написал диссертацию о врожденном у них чувстве прекрасного: вчера я видел такие очаровательные норы!.. Возле одной по бокам выростали два красноватых стебелька, кажется, кисличника — словно кипарисы... Вход в другую был весь увит и наполовину завешен листочками полярной ивы — совсем как веранда дома где-нибудь на берегу южного моря...

Борис Никанорович запечатлел ту самую гору, по которой я вчера лазил. «Недостовверно, нет правды жизни, — сказал я, разглядывая пейзаж. — Вот тут должен быть я». — «Тебя даже в подозрную трубу нельзя было рассмотреть», — оправдался Никанорович...

Вездеход не пришел — значит, еще не починили. Может, завтра двинуть пешком — всего-то пятьдесят километров...

27 июля. Вышли с утра — я и Нэля Веденеевна, которой нужно в Магадан. Марина Алексеевна пошла нас провожать... У москвичей командировка тоже на исходе, но у них слишком много вещей, чтобы тащить их на себе. Борис Никанорович остался — ему куда больше не надо. Он остался поджидать, пока окончательно заживет нога, и тогда он сможет ходить в горы. Осточертела ему его башня, хотя она и не из основной кости. «Башня из плавника, — как называли мы ее. —

Опять Никанорович удалился в свою башню из плавника...» Воображаю его где-нибудь на вершине, за мольтбертом, с развевающейся бородою. Саваоф!.. На прощание мы сфотографировались с магаданцами на заваulinке их неказистого, но гостеприимного дома. Всего какая-то неделя прошла, а жаль расставаться с этими милыми людьми и нашими долгими разговорами по вечерам, и с тем нетопленным домиком, где мы ночевали, со спальным мешком, в котором так отлично спалось, и с репродукцией портрета Анны Сергеевны Лермонтовой (кисти Григория Островского, 1776 г.), висевшей над моей койкой... Грустно покидать этот заброшенный поселок и его верных обитателей — Феликса и Ульвелькота, а также бухту Сомнительную, речку Сомнительную и Сомнительные горы, обладающие, несмотря на свои названия — и я могу теперь это подтвердить! — такой же несомненной реальностью, как и мысли, посещавшие меня на их берегах, вершинах и склонах...

...А погода для прогулки наигнуснейшая: холод, туман, встречный ветер и дождь — не дождь, но морось, несущаяся по ветру и мгновенно облепляющая лицо и одежду... Едва отходим километра четыре, как замечаем впереди, в тумане, наверху холма, какой-то темный предмет. Очередная бочка... «Только бочки с-под солярки попадают одне...» Но он исчезает с вершины, виднеется теперь ниже линии холма и, следовательно, движется нам навстречу. Значит, или овцебык, или вездеход... Да, это вездеход с нарисованным белым медведем на борту — конечно, Петр Яковлевич не подвел! Но мы уже разогрелись, вошли во вкус и ритм ходьбы. Договариваемся с полярниками так: мы двигаем дальше, они доезжают до Сомнительной, забирают москвичей и догоняют нас. Марина возвращается на вездеходе... Идем с Нэлей, придерживаясь наезженной ко-

леи, чтобы вездеход не проскочил мимо нас в тумане, — идем час, другой, третий, не слишком торопясь, но и не прогулочным шагом, нормально, как только и надо ходить по тундре; Нэля рассказывает, как работала врачом в Providения, как поехала однажды в командировку в Энмелен, это на мысе Беринга, и заблудилась там в пургу в самом поселке, между домами... Полярники тоже не спешат вслед за нами, остались, видимо, пообедать, и я их понимаю: обеда у магаданцев славные!.. Пора бы и нам перекусить, но где?! Тут, как нельзя кстати, видим сбоку от дороги какой-то странный лимузин, брошенный и навеки успокоившийся в тундре, — со снятым мотором, без руля, без стекол. Вот и кров! Усаживаемся в кабину, открываем банки, делаем бутерброды... Ох, и видик, наверное, у нас, если взглянуть эдак со стороны...

Вездехода все нет — вперед!.. Путь нам преграждает река Хищников, в несколько рукавов, последний довольно серьезный, приходится разуваться... Интересно, откуда такое название? Хищников на острове, правда, полно, но у меня с этим словом всегда почему-то ассоциируется исключительно семейство кошачьих: львы, тигры... На противоположном берегу подсученные штанины моих новых штормовых брюк не желают теперь спускаться — какой-то умник-изобретатель решил снабдить их внизу не резинками, а, для верности, прочными, нерастягивающимися шнурками. Так и остался бы я, без сомнения, стоять посреди врангелевской тундры, под дождем, нелепой фигурой — босиком и с засученными штанами, — но у Нэли в рюкзаке, к счастью, нашлись ножницы... И только трогаемся дальше, позади нас, за речкой, над обрывом нависает вездеход... Появись он на несколько минут раньше — не пришлось бы нам разуваться... Но я доволен, что мы успели перейти

речку, тут есть нюансы: догнал бы он нас на той стороне, можно было бы думать, что мы его дожидались. И, откровенно говоря, я немного жалею, что не удалось пройти пешком всей дороги: шутки шутками, а отшлагали мы с Нэлей почти половину пути. Еще несколько километров, и ожидал бы нас домик на старом корале — там можно было бы и обогреться, и чаю выпить... К вечеру точно были бы в Ушаковском!.. Конечно: мне, как человеку, долгое время проводящему за письменным столом, необходимо иногда самоутверждаться — хоть бы таким простым, лошадиным способом. Но сейчас я благоразумно помалкиваю: во-первых, мои личные соображения выглядели бы в глазах людей, сугубо северных, чистым пижонством, а во-вторых — элементарной неблагодарностью...

Внутри вездехода тесно от обилия вещей и тепло. Ни тебе дождя, ни ветра.

— Ну и как: набрались чукотских впечатлений? — не без ехидства спрашивает знакомый радиобиолог.

— Нет еще. Далеко нет... Но зато позабыл кое-какие московские, — смиренно отвечаю я.

И в свою очередь осведомляюсь, как обстоят дела с леммингами. Оказывается, десять штук — «с любезной помощью вот Нэли Веденеевны и ее коллег» — им все-таки удалось поймать.

— А сколько стоит командировка?

— На весь отряд — поболее четырех с половиной тысяч...

— Следовательно, — вслух подсчитываю я, — каждый лемминг с острова Врангеля вам обошелся в четыреста пятьдесят рублей. Это при условии, что все они уцелеют до Москвы. Не исключено, что и дорожка станет...

После этого мой собеседник переходит на разговор

исключительно о литературе. Как, например, отношусь я к творчеству Шукшина?..

Через час мы в поселке...

31 июля. Предыдущие три дня, как и сегодняшний, — в ожидании вертолета. Рано утром подымешь голову от подушки и первым делом — в окно: там, между домами, плавает туман. Следовательно, отбой, и можно еще подремать. Но сегодня солнышко, все горы и море видны далеко, и, стало быть, есть надежда...

...Товарищ Сазонов, встретив меня по приезде из Сомнительной, удивился: «А почему вы пешком пошли?!» Кажется, я ответил не очень вежливо. «Вы, чувствуется, на нас немного обижены?» — нелепо спросил он. Случайно узнал, что машина заповедника и не думала ломаться, бегала себе спокойно по поселку. Но я после Сомнительной и общения с природой настроен довольно мирно, и у меня нет никакого желания углубляться в разгадку тайных соображений и действий зама по науке. Директор еще не вернулся... Зато в эти дни вынужденного досуга я изучил объемистый том с тисненой надписью на обложке: «РСФСР. Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР. Проект организации и развития государственного заповедника «Остров Врангеля»; из которого узнал еще кое-какие подробности о заповеднике. Например, что в него, помимо острова Врангеля, входит также соседствующий с ним островок Геральд. На Геральде никто не живет, люди высаживались на него считанное число раз, и последний раз, кажется, в тридцатых годах, поэтому его предполагается оставить в «абсолютной» неприкосновенности, как эталон природы Арктики». Вот бы гля-

нуть, вот бы побывать на «эталоне»!.. Еще к заповеднику относится пятикилометровая охранная зона Восточно-Сибирского и Чукотского морей вокруг этих островов, которая «введена с целью сохранения биотопонимов литерали и ряда видов животных из числа млекопитающих и птиц, связанных с этой зоной трофически или иным путем». Что ж, это совершенно справедливо... Если заповедник — остров, то, чтобы стать именно заповедным островом, а не просто участком суши, он должен быть окружен и заповедным морем... Вообще «Проект» — документ очень основательный: с перечислением и характеристиками видов животных и птиц, населяющих остров, с рекомендациями по сохранности и увеличению численности их популяций... В разделе о белых гусях — снова мысль о «резком сокращении поголовья оленей». Названы уникальные и реликтовые виды растений — некоторые из них, оказывается, только на острове Врангеля да на Аляске. Перечень научных работ, которые намечено проводить в заповеднике... Даже список необходимой техники: трактор — 1, вездеходов — 3, бортовая машина — 1, мотонарт типа «Буран» — 10, лодок «Северянок» — 2, и так далее, вплоть до фотоаппаратов... Срок становления заповедника — пять лет... Становление — это, я так понимаю, полная укомплектовка заповедника штатами, обеспечение жильем, техникой, научно-техническими средствами, — и тот день, когда люди спокойно примутся за планомерные исследования, можно считать концом становления. В таком случае, вряд ли этот срок реален! Из объявленных пяти прошло два с половиной года, а в заповеднике пока ничего нет, кроме конторы да нескольких сотрудников, которые, кстати, почему-то числятся здесь «лесниками». Видимо, специальное штатное расписание для арктических заповедников не создано...



Но вот еще очень интересные для меня строки. Среди общих принципов охраны природы заповедника выделены «специфические для острова Врангеля» и, между прочим, записано: «Местному населению (чукчам и эскимосам) разрешить добычу ластоногих (под контролем охраны заповедника) для удовлетворения традиционных хозяйственных нужд». Как говорится, черным по белому... Сказано даже, сколько зверя, в расчете на несколько оставшихся на острове семей, можно добывать: моржа — до 10 голов, кольчатой нерпы — до 15, лахтака — до 3... Тогда что за нелепая ситуация с Ульвелькотом?! Я специально заложил это место и, возвращая сей официальный документ Сазонову, естественно, указал на него.

— Так как же все-таки с Ульвелькотом? — спросил я.

— Понимаете... — начал зам по науке, — если разрешить им охотиться, в поселке возникнет нездоровый ажиотаж. Шкуры нерпы... и прочее...

Тут я сразу вспомнил отличную шкуру нерпы в его доме, и меня так и подмывало заметить, что его собственное чувство «нездорового ажиотажа», видимо, уже удовлетворено. Но я сдержался и только сказал:

— Здесь же ясно написано: «под контролем охраны заповедника»! Значит, шкуры можно учитывать...

Сазонов промолчал.

— И с поляркой... — продолжал я. — Из протоколов ваших совещаний видно, что вы собираетесь отстреливать на острове песца, чтобы защитить гусей. Почему же, в таком случае, не разрешить охоту полярникам? Вы будете стрелять летом, когда песец ни на что не годится, и к тому же беспокоит гнездовье. А полярники будут ловить себе зимой, по снегу. Они и растительности тундры вреда не причинят, и государству поль-

за!.. В «Положении о полярной станции» даже записано, что начальник должен организовать охоту, чтобы рациональнее использовать свободное время, чтобы люди выходили из домов на воздух, чтобы снималось психологическое воздействие полярной ночи...

— Ни о какой охоте в заповеднике речи быть не может, — жестко сказал Сазонов.

— Ну хорошо: пусть даже и так. Но почему таким тоном? Сходите к ним, объясните вашу позицию, прочитайте лекцию или несколько — об охране природы, об экологической системе острова. Они будут только рады свежему человеку. Вы жалуетесь, помогать не хотят, — так подружитесь с ними! Вам вместе жить и жить. И кстати, все полярные станции находятся в ведении Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды — так что вы еще и коллеги!..

— Да, конечно, лекцию можно организовать, — согласился Александр Александрович.

— И наконец, я все думаю: вот вы ученый, а занимаетесь помойками, прочими хозяйственными мелочами... Всех этих дел не переделаешь, они всегда будут...

Тут в голосе Сазонова снова появилась твердость.

— Да, я ученый, — сказал он, — и легче всего мне было бы заявить директору: я — зам по науке, и привет, моя хата с краю... Но я не могу не сознавать свою ответственность...

Эх, какой мог бы получиться сюжет: молодой ученый, кандидат наук, энтузиаст, бросает институт в Москве, добровольно едет на Север, в глушь, сталкивается здесь с «невозможными условиями» для научной работы и вместо того, чтобы опустить руки, предаться унынию... и т. д. Но я уже видел, в каких условиях занимаются наукой магаданцы, представляю и как живут орнитологи в балке возле гнездовья — по полгода!..

А Ушаков, первый начальник острова, — тот вообще прибыл на пустое, неизведанное место, но уже на следующий день совершил полет над островом, а по первому снегу объехал его вокруг на собаках. И именно он, не имея «зама по науке» и сам не обладая специальными знаниями, именно он пятьдесят с лишним лет назад положил начало научному исследованию острова. А проблемы в первую зиму перед ним встали такие: например, как спасти от голодной смерти доверившихся ему эскимосов... Но напоминать все это моему собеседнику, мне кажется, бесполезно; он, видимо, твердо уверен в том, что до него здесь настоящей жизни и настоящего порядка не было и что с его приездом все только и началось... «Ничего, — говорю я себе, — этот человек на Севере всего два месяца и еще не разобрался ни в себе на новом месте, ни в обстановке. Не адаптировался... Отсюда и его настороженность, и недоверчивость, и обособленность... А со временем он или переменится, или... не приживется...» Случалось видеть таких людей.

...В ожидании вертолета брожу теперь по окрестностям поселка, которые сразу, по приезде на остров, не успел посмотреть. Примерно в километре, на плоском выступе мыса Пролетарский, — флаг, поднятый в 1924 году экспедицией Б. В. Давыдова. Говорят, что после его похода Академия наук СССР собралась ходатайствовать, чтобы остров Врангеля переименовать в его честь, но Борис Владимирович не согласился, исходя из неписаного кодекса путешественников и ученых — не менять старых названий на картах...

Высокая деревянная мачта на тонких металлических растяжках — от врангелевских бурь — со звездой наверху и железное полотнище флага с эмблемой Серпа и Молота. У подножия мачты маленькая бетонная пи-

рамидка с надписью, что здесь в 1974 году, в связи с пятидесятилетием подъема флага, жителями поселка заложено письмо, которое надлежит вскрыть через следующие пятьдесят лет, в 2024-м... Неподалеку от флага — могила в оградке. «Непартийному большевику, погибшему от руки убийц в зимовку 1934—35 г. в борьбе за советские принципы освоения Арктики, д-ру Н. Л. Вульфсону от Главсевморпути и Политуправления». Были на острове и тяжелые времена... Сейчас и флаг, и могила включены в список памятников истории и культуры Магаданской области. Собираются рядом с флагом воздвигнуть и другой, более величественный монумент...

Меня интересует, что написано в письме, и я захожу к «мэру» острова — Петру Александровичу Акуненкову, который, как я уже упоминал, живет здесь и состоит в этой должности семнадцать лет. То есть вся последняя треть истории острова Врангеля с момента его заселения прошла на его глазах... Кое-что Петр Александрович уже поведал мне о себе: на Севере с 51-го года, приехал молодой, двадцати лет, работал в Ванкареме, в тундре, заведующим красной яранги. Чукчи не знали русского языка, а он чукотского, составил себе самодельный разговорник, учил и сам учился... А вообще-то скуп Петр Александрович на слова, отвечает, значительно помедлив, и это никак не свяжешь с врожденной замкнутостью, молчаливостью, рассеянностью, погруженностью в себя и т..д. Напротив, взгляд его постоянно обращен вовне, на жизнь окружающую, ближайшую, и красноречиво свидетельствует о том, что все-то Петр Александрович видит, замечает, знает... И сейчас, когда я спрашиваю, о чем говорится в письме, он долго и загадочно улыбается и, наконец, говорит:

— А вы приезжайте в 2024 году и узнаете...

— Спасибо! Обязательно! — мгновенно принимаю приглашение и прошу: — Ну расскажите тогда, о чем там не говорится!

Опять Петр Александрович раздумывает, медлит, потом с тою же хитровой улыбкой выдвигает ящик стола и молча вручает мне стопку газетных вырезок. Здесь кое-какие материалы по истории острова, печатавшиеся в районной и окружной газетах в связи с его юбилеем. Почему-то — видимо, случайно — попало сюда и вырезанное из газеты предупреждение районной пожарной охраны об осторожном обращении населения с огнем... Все вырезки, замечаю я, изрядно пообтрепались, потерлись на сгибах — видно, таким образом Петр Александрович «давал интервью» не одному заезжему корреспонденту... Но я все-таки не отступаю, уговариваю его встретиться после работы, вечером, и в тот момент, когда Петр Александрович милостиво роняет: «Ну хорошо...» — звонит с полярки Клейменов и говорит, что вертолет на полете к острову, минут через двадцать будет... Вот так на Севере обычно и случается!.. Я иду в гостиницу за чемоданом. Вертолет уже виден...

9

...Должен признаться, что, улетев с острова, я о нем сразу забыл, зная по опыту, что бесполезно начинать сейчас же разбираться в своих впечатлениях и лучше всего делать это по прошествии некоторого времени. Кроме того, мне предстоял еще довольно долгий и сложный путь, и я поневоле погрузился в новые заботы... «Но чтобы не забыть итога наших странствий — от пальмовой лозы до ледяного мха...» Итак, возвращаясь

теперь назад: едва я вышел из вертолета на мысе Шмидта, как увидел знакомое лицо. Это был Володя Вовченко, он опять летел на остров — искать своих овцебыков... А на другой день, в Анадыре, я прочел в окружной «Советской Чукотке» коротенькое сообщение о том, что на остров Врангеля прибыла научная экспедиция Главохоты РСФСР, чтобы получить «новые сведения» об овцебыках, которые, «как известно, хорошо прижились на земле своих предков и уже дали первое потомство». Значит, взялись искать всерьез, подумал я... Забегая вперед: спустя полтора месяца, по пути домой, я заехал в Магадан и пошел в институт — узнать, чем все это кончилось. «Короли пик» Вовченке и на этот раз не явились, но, как следовало из его отчета, теперь он обнаружил их следы и напал на места кормежки. А работники заповедника нашли «около 2 килограммов пухового подшерстка линьки этого года», и кому-то из них даже посчастливилось увидеть близ устья реки Тундровой самого овцебыка — «самца довольно внушительных размеров». Из всего этого можно было предварительно заключить, что овцебыки целы, только где-то бродят... А что касается научной экспедиции Главохоты, то она до острова Врангеля не добралась, застряла из-за погоды на мысе Шмидта...

Забегая вперед еще далее: вернувшись в середине сентября в Москву, я почти сразу попал на совещание в Главохоте РСФСР, посвященное, в основном, одному вопросу — что же делать с врангелевскими оленями? Тут было много специалистов, знатоков острова, среди которых я увидел и знакомого мне орнитолога Сыроечковского. Мнения выступавших были самые различные: и всех уничтожить (это, конечно, Сыроечковский, болеющий за своих гусей), и, напротив, всех сохранить, воспользоваться тем, что на острове заповед-

ник, и развивать оленеводство на солидной научной основе (представитель Министерства сельского хозяйства РСФСР). Было и такое предложение: сократить поголовье до одной-полутора тысяч, оставшихся оленей «перевести в дикие», рассматривать как «объект природного биоценоза», и только в этом отношении, а не в хозяйственном, как предмет научного изучения... Большинство присутствующих склонились к тому, чтобы полностью все-таки не уничтожать, а сокращать. «Мы должны исходить не из «оленеемкости», а из «оленедопустимости» острова», — как выразился кто-то... «В общем,— подводя итоги, сказал заместитель начальника Главохоты Анатолий Васильевич Нечаев, — видно, что вопрос этот острый и сложный. И надо признать, что у нас пока нет твердой позиции. Мы можем только гадать... Конечно, надо ориентироваться на то, чтобы сокращать... Но до каких пределов?! И сколько сейчас оленей на острове? Каков, в цифрах и фактах, ущерб, причиняемый ими заповеднику?.. Только когда все эти данные будут у нас в руках, мы сможем выступить с нашим предложением, и тогда, я думаю, хозяйственники области и местные органы власти согласятся с нами... Теперь определим сроки. Послать экспедицию для подсчета стада мы можем ближайшей весной...»

После совещания я остался еще поговорить с Анатолием Васильевичем и узнал от него последние вести из заповедника. Директор, с которым я познакомился в Магадане, буквальным образом заболел от всех этих «оленьих» коллизий и просит его освободить от должности. Придется искать нового — уже третьего директора за столь небольшой срок. Кое-какая техника в навигацию пришла, но далеко не полностью. В заповеднике состоялось совещание, на котором мой знакомый

Акуленков Петр Александрович показал, что он недаром здешний «мэр» и так долго живет на Чукотке. «Местное население острова, — заявил он, — не может без моржового и нерпичьего мяса. Необходимо разрешить охоту!..» Постановили: просить «Охотскрыбвод» выдать лицензию на отстрел 8 моржей и 10 нерп. А пока будут решать оленью проблему, забить 150—200 голов для нужд поселка. Так что я надеюсь, что Ульвелькот и его собаки теперь с мясом...

И вот так: разом вернувшись к знакомым островным, а точнее, заповедным проблемам и к поспешному ритму московской жизни, я загорелся тут же и немедленно писать взволнованную статью, и непременно в какую-нибудь центральную газету — о «положении дел» в заповеднике. «Как так? — недоумевал я. — Охрана природы... такое святое дело, ради которого, казалось бы, все должны соединиться... а тут какие-то ведомственные интересы, да еще чьи-нибудь личные измышления, вроде как у товарища Сазонова насчет охоты!..» И я действительно сел за статью, и... незаметно для себя стал вспоминать, заново представлять... и постепенно не заповедник, но остров овладел моим воображением.

Стремлюсь привычно мечтою  
К студеным северным волнам.  
Меж белоглавой их толпою  
Открытый остров вижу там.  
Печальный остров — берег дикий  
Усеян зимнею брусничкой,  
Увядашей тундрой покрыт...

Я вдруг представил, какие там сейчас, должно быть, снега, тишина, мерцание полярной ночи... Я вспомнил вновь эти вечные горы, пустынную тундру, обволакивающий все туман и речку Хищников, берущую нача-

ло словно прямо из тумана... И я уже знал, откуда это название, — я никогда заранее специально не читаю о том месте, куда еду, и нет у меня никаких рациональных этому объяснений: не читаю, и все... — но теперь, вернувшись, я уже знал из книги Б. В. Давыдова «В тисках льда», что лагерь канадских охотников-браконьеров, обнаруженный им между бухтами Роджерса и Сомнительной, он называл стоянкой хищников... Всех запомнил и увековечил остров: и благородных первооткрывателей, и алчущих наживы промышленников, и первых отважных поселенцев. А я, читая о нем, разглядывая карты острова разных лет и припоминая собственные впечатления, как бы вновь пустился в путешествие, и вместо статьи у меня получилась вот эта дорожная повесть...

Что же касается «проблем»... «Ну что — «проблемы»? — сказал я себе, дописывая ее. — Насчет охоты для местных уже решили... А оленей действительно раньше весны начать считать невозможно — пиши — не пиши... Непоступившая техника?.. По мне, если уж говорить откровенно: чем меньше ее будет бегать по острову, тем лучше!.. Научная работа в заповеднике?.. Самое важное, что остров стал заповедником, первым арктическим заповедником в нашей стране, уникальным в мире, и его зверье может считать себя в безопасности».

Самому мне, к сожалению, удалось пройти только краешком острова — могу сказать, что заповедник, в той мере, в какой он там существует, я видел, а остров — почти нет. Но я еще поеду туда. Попрошусь, например, к орнитологам — считать яйца на гнездовье. И уж я найду, как управиться с песцами!.. А то к териологам — писать номера на боках медведей... Говорят, что это нужно успеть сделать за те минуты, пока

обездвиженный медведь снова не пришел в себя. Ну а я когда-то в юности работал маляром в вагонном депо и за два часа наловчился выкрашивать целиком большой четырехосный вагон! А что такое медведь, пусть даже белый, в сравнении с железнодорожным вагоном? По белому и красить-то легче...

Я вообще должен признать, что моя книга о Чукотке остается незаконченной, ибо насколько может быть законченным вымысел, настолько бесконечно можно рассказывать о жизни действительной, о реальных местах, событиях, людях. Потому что и сейчас, когда я ставлю точку, продолжается и впредь будет продолжаться эта жизнь, и большинство моих героев по-прежнему работают и будут работать на Севере, и все так же будут лететь над чукотскими горами вертолеты, идти по тундре вездеходы с геологами, грохотать в билибинских распадах бульдозеры, плыть по морю вельботы с охотниками, и неизменно, каждую осень, на узленский берег будут накатываться все новые штормы, а зимой — проноситься над ним новые пурги. И вот такой бесконечной незавершенности, я считаю, можно только радоваться — ведь она, помимо всего, означает, что и сам ты в любой момент можешь вернуться и вновь окунуться в эту прекрасную, не отпускающую от себя жизнь.

Июль 1978 года

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| ДЛИННАЯ ДОРОГА В УЭЛЕН . . . . .        | 5   |
| ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОЗВРАЩЕНИЯМИ . . . . .   | 11  |
| ВНОВЬ НА РОСОМАЗЬЕЙ РЕКЕ . . . . .      | 94  |
| КОСА, НА КОТОРОЙ СТОИТ УЭЛЕН... . . . . | 134 |
| ОСТРОВ И ЗАПОВЕДНИК . . . . .           | 180 |

**Василевский Б. А.**

**В19** Длинная дорога в Уэлен.— М.: Сов. Россия,  
1980.— 288 с., 1 л. портр.— (По земле российской).

Расстояния на Чукотке велики, пейзажи разнообразны, деятельность и интересы людей, осваивающих ее, многосторонни. Книга Б. Василевского соединяет все это в цельную картину современного облика Севера.

**В 11301—111**  
**М-105(03)80** 56—80 0802010207

**33С5**